АЗБУКА ВЕРЫ

Лондон Джек

Люди бездны

Художественная литература · azbyka.ru

Люди бездны – электронная книга православного портала «Азбука веры».

Читайте эту и тысячи других книг бесплатно: azbyka.ru/fiction/lyudi-bezdny

«Азбука веры» – некоммерческий просветительский проект. Мы бесплатно открываем людям сокровищницу православной веры и лучшие книги русской и мировой литературы. Если книга оказалась для вас полезной, поддержите портал: azbyka.ru/kak-pomoch

Люди бездны

Лондон Джек

ГОВОРЯТ ПЕРВОСВЯЩЕННИКИ И ПРАВИТЕЛИ

«Господь, мы безгрешны, мы славим Творца,
Сын строит у нас по заветам отца;
Взгляни: присносущий образ Твой
Царит безраздельно над нашей страной.
Тяжел наш труд — огнем и мечом
Мы древний порядок в стране блюдем,
Мы жезлом стальным направляем стада —
Да найдут они верный путь всегда!»
Двоих показал богомольцам Христос:
Работник — угрюм, изможден, бос,
И дева — несчастна, худа, тиха,
Повел ее голод стезею греха.
И сильных толпа отхлынула вспять,
Ризы свои боясь запятнать;
Христос восскорбел, и молвил им Он:
«Вот как вами образ Мой искажен».

Джеймс Расселл Лоуэлл[1]

Предисловие

В этой книге описано то, что мне пришлось испытать летом 1902 года. Я отправился на «дно» Лондона с чувством, свойственным каждому исследователю. Меня убедят лишь факты, решил я, лишь то, что я увижу собственными глазами, а вовсе не поучения третьих лиц, которые не были на «дне», и даже не свидетельства очевидцев, побывавших там до меня. Скажу еще, что к жизни «дна» я подходил с одной простой меркой: я готов был считать хорошим то, что приносит долголетие, гарантирует здоровье — физическое и моральное, и плохим то, что укорачивает человеческий век, порождает страдания, делает из людей тщедушных карликов, извращает их психику.

Я увидел много плохого, — это читателю будет ясно из моей книги. Однако прошу не забывать, что время, которое я описываю, считалось «хорошим временем» в Англии. Я увидел голод и бездомность, увидел такую безысходную нищету, которая не изживается даже в периоды самого высокого экономического подъема.

За летом пришла суровая зима. Страдания и голод — голод в самом точном смысле слова — приняли столь широкие размеры, что общество не могло справиться с этим бедствием. Безработные устраивали демонстрации, нередко свыше десяти демонстраций в день в разных концах Лондона. Громадные толпы запружали улицы и громко требовали хлеба. М-р Джастин Мак-Карти в своей статье в нью-йоркском «Индепендент» за январь 1903 года кратко охарактеризовал положение в следующих словах:

«Работные дома не могут вместить всех голодных, молящих каждый день и каждую ночь о пище и ночлеге. Благотворительные организации уже исчерпали все свои средства, стремясь прокормить вымирающих от голода обитателей чердаков и подвалов в тупиках и закоулках

Лондона. Сонмы безработных и голодных денно и нощно осаждают казармы Армии спасения в различных районах Лондона, но дать им пристанище негде и поддержать их силы нечем».

Меня обвиняют в чрезмерно пессимистической оценке нынешнего положения дел в Англии. Должен сказать в свое оправдание, что я по природе самый что ни на есть оптимист. Но человечество для меня — это не столько разные политические объединения, сколько сами люди. Общество развивается, в то время как политические машины рушатся, идут на свалку. Что касается английского народа, его здоровья и счастья, то я предрекаю ему широкое, светлое будущее. Что же касается почти всей политической машины, которая ныне так плохо управляет Англией, то для нее я вижу лишь одно место — мусорную свалку.

Д ж е к Л о н д о н

Пидмонт, Калифорния.

Глава I. Сошествие в ад

Христос, на город наш взгляни,
Любовь и жалость в нас сохрани,
Пусть будут кротки наши сердца
До конца.

Томас Э ш[2]

— Но поймите, это невозможно, — убеждали меня знакомые, к которым я обращался с просьбой помочь мне проникнуть на «дно» Восточного Лондона. — Или уж попросите тогда себе проводника в полиции, — подумав, добавляли они, мучительно силясь понять, что происходит в сознании этого сумасшедшего: несомненно, голова у него дурная, хотя он и явился с хорошими рекомендациями.

— Да на что мне ваша полиция! — возражал я. — Единственно, чего я хочу, — это попасть на Восточную сторону и повидать все собственными глазами. Хочу узнать, как и почему и во имя чего живут там люди. Короче, сам хочу пожить среди них.

— Пожить там! — кричали все в один голос, и я читал решительное неодобрение на их лицах. — Ведь там, говорят, есть такие места, где человеческую жизнь ни в грош не ставят!

— Вот-вот, — нетерпеливо перебивал я. — Как раз то, что мне нужно.

— Но это же невозможно! — неизменно слышалось в ответ.

— Да не за этим вовсе я к вам пришел, — вспылил наконец я, раздраженный бестолковостью моих собеседников. — Я тут новый человек и надеялся разузнать у вас хоть что-нибудь о Восточной стороне, чтобы правильно к этому делу приступиться.

— Но мы же ничего не знаем о Восточной стороне! Это где-то там... — И мои знакомые неопределенно махали рукой в ту сторону, где иногда восходит солнце.

— Тогда я обращусь к Куку, — заявил я.

— Вот и хорошо! — сказали они с облегчением. — У Кука-то уж наверное знают!

О Кук! О «Томас Кук и сын», разведчики путей, всемирные следопыты, живые указательные

столбы по всему земному шару, надежные спасители заблудившихся путешественников! Вы могли бы в мгновение ока и без малейших колебаний отправить меня в дебри черной Африки или в самое сердце Тибета, но в восточные кварталы Лондона, куда от Ладгейт-серкус[3] рукой подать, вы не знаете дороги!

— Уверяю вас, это невозможно, — изрек ходячий справочник маршрутов и тарифов в Чипсайдском отделении конторы Кука. — Это так… гм… так необычно!

— Обратитесь в полицию, — заключил он авторитетным тоном, видя, что я продолжаю настаивать. — Нам еще не приходилось сопровождать путешественников на Восточную сторону, нас об этом никогда никто не просил, и мы решительно ничего не знаем про эти места.

— Ладно, не беспокойтесь, — прервал я, испугавшись, как бы ураганом его отрицаний меня не вышибло вон из конторы. — Но все-таки вы можете кое-что сделать для меня. Я предупреждаю вас о своих намерениях, чтобы в случае чего вы имели возможность удостоверить мою личность.

— Ага, понимаю! Чтобы мы сумели опознать тело, если вас убьют?

Он произнес это так весело и хладнокровно, что моему воображению вмиг представился мой голый изуродованный труп на мраморном столе в мертвецкой. Журчит без умолку холодная вода; а вот и он, этот клерк из конторы Кука, скорбно и сосредоточенно склонившись надо мной, он подтверждает, что это тот сумасшедший американец, которому до зарезу понадобилось повидать Восточную сторону.

— Нет, нет, — ответил я, — просто, чтобы вы сумели опознать меня в том случае, если я влипну в историю с вашими бобби[4]. — Последние слова я произнес с особым удовольствием; право, я начинал уже усваивать лондонский жаргон.

— Ну, это дело главной конторы, — сказал он и добавил извиняющимся тоном: — У нас, видите ли, еще не бывало таких случаев.

Но в главной конторе тоже не могли решиться.

— У нас правило, — пояснил клерк, — не сообщать никаких сведений о своих клиентах.

— Помилуйте, — настаивал я, — в данном случае сам клиент просит вас сообщить о нем.

Но он все же колебался.

— Разумеется, — опередил я его, догадываясь, что он сейчас скажет, — я знаю, у вас еще не бывало таких случаев, но…

— Именно это я собирался вам заявить, — твердо изрек он, — у нас не бывало таких случаев, и боюсь, мы вам ничем не сможем помочь.

Все же я ушел оттуда, прихватив с собой адрес сыщика, проживавшего на Восточной стороне. Затем я направился к американскому генеральному консулу. Наконец я нашел человека, с которым можно было разговаривать по-деловому. Он не мялся, не поднимал бровей, не таращил удивленно глаза, не выказывал скептицизма. Одной минуты мне хватило, чтобы объяснить ему, кто я и чего добиваюсь, и он принял все это как нечто вполне естественное. В следующую минуту он осведомился, сколько мне лет, каковы мой рост и вес, и оглядел меня с

головы до ног. На исходе третьей минуты мы уже пожимали друг другу руки, и он сказал мне на прощание:

— Ладно, Джек. Не буду терять вас из виду.

Я вздохнул с облегчением. Теперь мои корабли были сожжены, и мне оставалось только углубиться в эти человеческие джунгли, о которых никто как будто ничего не знал. Однако тут же возникло новое препятствие в лице весьма благообразного извозчика с седыми бакенбардами, который невозмутимо возил меня в течение нескольких часов по Сити.

— На Восточную сторону, — приказал я, усаживаясь в экипаж.

— Куда, сэр? — переспросил извозчик, не скрывая удивления.

— Куда-нибудь на Восточную сторону. Трогайте!

Несколько минут высокий двухколесный экипаж куда-то катился, потом внезапно стал. Окошко над моей головой приоткрылось, и я увидел растерянного извозчика, уставившегося на меня.

— Простите, — спросил он, — куда, вы сказали, вам нужно?

— На Восточную сторону, — повторил я. — Все равно куда. Просто покатайте меня там, где хотите.

— Но какой же адрес, сэр?

— Эй, слушайте! — рассвирепел я. — Везите меня на Восточную сторону, да поживей!

Было ясно, что он ничего не понял, но все же голова исчезла, и он с ворчанием погнал лошадь дальше.

На улицах Лондона нигде нельзя избежать зрелища крайней нищеты: пять минут ходьбы почти от любого места — и перед вами трущоба. Но та часть города, куда въезжал теперь мой экипаж, являла сплошные, нескончаемые трущобы. Улицы были запружены людьми незнакомой мне породы — низкорослыми и не то изможденными, не то отупевшими от пьянства. На много миль тянулись убогие кирпичные дома, и с каждого перекрестка, из каждого закоулка открывался вид на такие же ряды кирпичных стен и на такое же убожество. То здесь, то там мелькала спотыкающаяся фигура пьяницы, попадались и подвыпившие женщины; воздух оглашался резкими выкриками и бранью. На рынке какие-то дряхлые старики и старухи рылись в мусоре, сваленном прямо в грязь, выбирая гнилые картофелины, бобы и зелень, а ребятишки облепили, точно мухи, кучу фруктовых отбросов и, засовывая руки по самые плечи в жидкое прокисшее месиво, время от времени выуживали оттуда еще не совсем сгнившие куски и тут же на месте жадно проглатывали их.

На всем пути нам не попалось ни одного экипажа, и детям, бежавшим сзади нас и по бокам, мы казались, верно, посланцами из какого-то неведомого и лучшего мира. Всюду, куда ни обращался взор, были сплошные кирпичные стены и покрытые грязной жижей мостовые. И над всем этим стоял несмолкаемый галдеж. Впервые за всю мою жизнь толпа внушила мне страх. Такой страх внушает морская стихия: сонмы бедняков на улицах представлялись мне волнами необъятного зловонного моря, грозящими нахлынуть и затопить меня.

— Сэр, вот Степни, станция Степни! — крикнул сверху извозчик.

Я осмотрелся: в самом деле, железнодорожная станция. Извозчик с отчаяния подъехал сюда, к единственному, очевидно, знакомому ему месту в этих дебрях.

— Ну и что ж? — спросил я.

Он что-то бессвязно пробормотал и покачал головой. Вид у него был самый жалкий.

— Я тут никогда не бывал, — наконец выдавил он из себя, — и коль вам надо не на станцию Степни, то я уж не знаю, куда вам надо.

— Я вам объясню, куда мне надо, — сказал я. — Поезжайте прямо и глядите по сторонам, пока не увидите лавку старьевщика. А как увидите, сверните на первом же углу, остановитесь там, и я сойду.

Видно было, что его начинают одолевать сомнения насчет моей личности. Все же через некоторое время экипаж остановился у панели, и извозчик объявил, что мы только что проехали лавку старьевщика.

— А как насчет платы? — просительно сказал он. — С вас семь шиллингов шесть пенсов.

— Ну да, — рассмеялся я, — заплати я вам сейчас, вас и след простынет!

— Господи! Это вас наверняка след простынет, если вы сейчас не заплатите мне, — возразил он.

Тем временем экипаж уже обступила толпа оборванных зевак. Я снова рассмеялся и зашагал к лавке старьевщика.

Здесь самым трудным делом оказалось убедить хозяина, что мне требуются именно старые вещи. Только поняв бесплодность своих стараний всучить мне новые, немыслимого вида пиджаки и брюки, он стал извлекать на свет кучи старья, поглядывая на меня, как заговорщик, и делая таинственные намеки. Он явно желал показать, что догадывается, чем тут пахнет, и намеревался, запугнув разоблачением, содрать с меня втридорога. Человек, которого ищут, а может, даже крупный преступник из-за океана — вот что он обо мне подумал, полагая, что и в том и в другом случае главная моя забота — избежать встречи с полицией.

Однако я так яростно с ним торговался, доказывая несоответствие между ценой и товаром, что почти развеял его подозрения на свой счет. Тогда он переменил тактику и принялся на все лады уламывать неподатливого покупателя. В конце концов я выбрал изрядно поношенные, хоть и крепкие еще брюки, потрепанный пиджачок, с единственной уцелевшей пуговицей, башмаки, в которых, по-видимому, не раз грузили уголь, узкий кожаный пояс и грязную-прегрязную летнюю кепку. Но белье и носки я взял новые и теплые, — такие, между прочим, в Америке мог бы купить себе любой бездомный неудачник.

— Я вижу, вас не проведешь, — сказал лавочник с притворным восхищением, когда я, сторговавшись наконец, протянул ему десять шиллингов. — Небось, успели уже исходить всю Петтикот-лейн вдоль и поперек. Да за эти брюки всякий заплатит пять шиллингов! А за такие башмаки любой докер отвалил бы два шиллинга шесть пенсов. Я уж не говорю про пиджак, про эту новенькую кочегарскую фуфайку и все прочее!

— Сколько вы мне за них дадите? — вдруг спросил я. — Я уплатил вам десять шиллингов и готов вернуть все это за восемь. По рукам?

Но он только ухмыльнулся и замотал головой, и я с досадой понял, что если для меня эта сделка казалась выгодной, то для него она была еще выгоднее.

Возле экипажа мой извозчик секретничал с полисменом. Впрочем, блюститель порядка ограничился тем, что окинул меня испытующим взглядом — особенно узелок, который я держал под мышкой, — и пошел прочь, оставив извозчика кипеть гневом в одиночку. А тот не тронулся с места, пока я не вручил ему семь шиллингов шесть пенсов. После этого он готов был отвезти меня хоть на край света и смиренно просил прощения за свою настойчивость, оправдываясь тем, что мало ли каких подозрительных седоков приходится иной раз возить по Лондону.

Но я доехал только до Хайбери-Вейл в северной части Лондона, где я оставил свой багаж. Здесь на следующий день я снял с себя ботинки (не без сожаления — ведь они были так легки и удобны!), свой мягкий серый дорожный костюм и все, что было на мне, и начал облачаться в чужие обноски, принадлежавшие неизвестным мне людям, которым, видимо, здорово не повезло, если им пришлось продать свое тряпье старьевщику за какие-то жалкие гроши.

В пройму кочегарской фуфайки я зашил соверен (более чем скромный запас на всякий случай) и натянул на себя фуфайку. Затем я сел и прочел сам себе мораль на тему о том, что годы удачи и сытая жизнь изнежили мою кожу и сделали ее непомерно чувствительной. Надо сказать, что самый суровый отшельник не так страдал от своей власяницы, как я страдал еще целые сутки от этой жесткой, колючей фуфайки.

Обрядиться в остальное тряпье не составило особого труда, хотя с башмаками я изрядно намучился. Твердые, негнущиеся, они были словно выдолблены из дерева; я долго колотил кулаками по верхам, и лишь после этого мне удалось протолкнуть в них свои ступни. Рассовав по карманам мелкие монеты, нож, носовой платок, коричневую курительную бумагу и немного табаку, я прогромыхал вниз по лестнице и распростился со своими друзьями, исполненными самых мрачных предчувствий на мой счет. Когда я уже выходил из дому, прислуга — благообразная женщина средних лет — не смогла подавить улыбку, и рот ее раскрывался все шире и шире до тех пор, пока из горла не вырвались странные лающие звуки, порожденные, должно быть, невольным сочувствием ко мне и почему-то именуемые «смехом».

Едва покинув дом, я сразу ощутил, как отражается на положении человека его одежда. Простые люди утратили в обращении со мной прежнее подобострастие. Хлоп! — и в мгновение ока я, так сказать, стал таким, как они. Потертый, продранный на локтях пиджак был явным свидетельством моей принадлежности к их классу, и это ставило меня на одну доску с ними, — вот почему угодливость и чрезмерно почтительное внимание к моей особе сменились товарищеским обращением. Человек в плисовом костюме, с грязным шарфом на шее не называл меня больше ни «сэр», ни «хозяин». Теперь он обращался ко мне со словом «товарищ» — прекрасным, сердечным, теплым и приветливым словом, совсем непохожим на те два. Слово «хозяин» связано с представлением о господстве власти, праве командовать, — это дань, которую человек, стоящий внизу, платит человеку, забравшемуся наверх, в надежде, что тот, наверху, даст ему передышку, ослабит свой нажим. По существу, это та же мольба о милостыне, только в иной форме.

Лохмотья дали мне, кстати, возможность испытать то наслаждение, которого лишен за границей рядовой американец. Путешествуя по Европе, скромный приезжий из Штатов, не крез, вскоре начинает чувствовать себя закоренелым скрягой, если он пытается противостоять шайке раболепствующих грабителей, преследующих его с утра до ночи и разоряющих его почище, чем любые ростовщики.

Обтрепанный костюм избавил меня от неприятной обязанности давать чаевые и позволил держаться с людьми на равной ноге. Больше того — я настолько вошел в свою роль, что на исходе первого дня сам с чувством сказал: «Благодарю вас, сэр», одному джентльмену, который бросил пенни в мою протянутую ладонь за то, что я подержал его лошадь.

Я обнаружил и другие перемены в своем положении, также вызванные моим новым обличьем. На оживленных уличных перекрестках от меня теперь требовалось особое проворство, чтобы не угодить под колеса и остаться целым, причем мне весьма выразительно давали понять, что цена моей жизни находится в прямой зависимости от цены моего костюма. Прежде, когда я спрашивал у полисмена, как попасть в то или иное место, он, в свою очередь, сначала спрашивал: «Вы как поедете, сэр, в омнибусе или в экипаже?» Теперь я слышал от него лаконичное: «Пешком?» А в билетной кассе на вокзале, где обычно спрашивают: «Первый класс или второй, сэр?», ныне мне безмолвно просовывали в окошечко билет третьего класса, словно это в порядке вещей.

Но все это компенсировалось другим. Впервые в жизни я вплотную столкнулся с англичанами из непривилегированного сословия и увидел их такими, каковы они есть. Если на уличном перекрестке или в кабаке какой-нибудь бродяга или мастеровой вступал со мной в беседу, это был разговор равного с равным — простой, естественный, без малейшего расчета выманить у меня что-то льстивыми словами.

И когда я попал, наконец, на Восточную сторону, то с радостью почувствовал, что освободился от страха перед толпой. Я стал частью ее. Огромное зловонное море захлестнуло меня — вернее, я сам осторожно погрузился в его пучину, — и в этом не было ничего страшного, если не считать моей кочегарской фуфайки.

Глава II. Джонни Апрайт

Люди живут в грязных лачугах, где
нет места ни здоровью, ни надеждам,
а есть только недовольство своей
судьбой да бессильный ропот на то,
что богатства принадлежат другим.

Торолд Роджерс[5]

Я не даю вам адреса Джонни Апрайта. Достаточно сказать, что он живет на самой приличной улице Восточной стороны. В Америке такая улица считалась бы скверной, но в Восточном Лондоне она подобна оазису в пустыне. Кругом нищета, скученность, ее обступают кварталы, кишащие замызганной, рано познавшей жизнь детворой, но там, где обитает Джонни Апрайт, у ребят есть, должно быть, другие места для игр, кроме тротуара, да и вообще на этой пустынной улице людей почти не видно.

Каждый дом здесь — как, впрочем, и на других улицах — тесно прижат к соседним. У каждого только один вход — с улицы, а длина дома по фасаду около восемнадцати футов[6]; сзади — дворик, окруженный кирпичной стеной; оттуда, если нет дождя, можно полюбоваться свинцовым небом. Имейте в виду, что речь идет о так называемых преуспевающих жителях Восточного Лондона. Кое-кто из них даже настолько богат, что позволяет себе держать «рабыню». Мне, например, доподлинно известно, что Джонни Апрайт тоже держит «рабыню», — она-то и была первой, с кем я свел знакомство в этом обособленном мирке.

Я пришел к Джонни Апрайту, и мне открыла дверь «рабыня». И вот что интересно: эта особа,

занимая сама положение, вызывающее презрение и жалость, посмотрела на меня презрительно и с сожалением. Она, не скрывая, дала мне понять, что не желает тратить время на разговор со мной: я пришел в воскресенье, хозяина нет дома, о чем тут еще толковать?! А я все мешкал на крыльце, стараясь доказать, что нет — это еще не все; но тут на наши голоса вышла супруга Джонни Апрайта и принялась распекать девушку за то, что та не захлопнула дверь. Лишь потом она удостоила меня вниманием.

Мистера Джонни Апрайта нет дома, и он вообще не принимает по воскресеньям. Очень жаль, сказал я. Пришел ли я просить работы? Нет, напротив, я пришел к Джонни Апрайту по делу, которое может оказаться выгодным для него.

Вмиг отношение переменилось. Нужный мне джентльмен ушел в церковь, но он вернется примерно через час, и его, безусловно, можно будет повидать.

Я уже ждал вопроса, не угодно ли мне пройти в комнату, но так, к сожалению, и не дождался, хотя весьма прозрачно напрашивался на приглашение, говоря, что пойду на угол в пивную и подожду там. И пришлось отправиться туда, но так как служба в церкви еще не отошла, пивная оказалась закрытой. Моросил противный дождик, и, за неимением лучшего, я вернулся, присел на соседнее крылечко и принялся ждать.

Вскоре на пороге дома снова появилась «рабыня» Джонни Апрайта, в самом неприглядном виде, и растерянно объявила, что хозяйка приглашает меня подождать на кухне.

— Вы не представляете, сколько народу ходит сюда просить работу, — сказала миссис Апрайт извиняющимся тоном. — Надеюсь, вы не обиделись, что я с вами так разговаривала?

— Да что вы, что вы! — ответил я со всей любезностью, на какую только был способен, давая понять, что нищенское облачение не мешает мне оставаться джентльменом. — Я отлично понимаю, уверяю вас. Вам, верно, покоя не дают эти люди, что ходят насчет работы?

— Еще бы! — отозвалась она, договорив остальное многозначительным взглядом, и повела меня, представьте, не на кухню, а в столовую, оказав мне явную милость, которую я, надо полагать, заслужил своим светским обхождением.

Столовая была расположена рядом с кухней, в подвале, фута на четыре ниже уровня земли. Несмотря на полдень, там была такая темень, что я не сразу начал различать предметы. Через окно, верхняя рама которого приходилась вровень с тротуаром, едва пробивался тусклый свет, но я все же умудрился почитать здесь газету.

В ожидании прихода Джонни Апрайта позвольте объяснить вам причину моего визита. Решив пожить среди восточных лондонцев, питаться из одного котла с ними и спать под одной крышей, я хотел все-таки подыскать себе какое-нибудь пристанище поблизости, куда можно было бы укрываться время от времени, дабы не забыть окончательно, что на свете все еще существуют хороший костюм и опрятность. Кроме того, там я должен был получать корреспонденцию, обрабатывать свои записи и изредка, соответственно переодевшись, совершать оттуда вылазки в цивилизованный мир.

Но вот какая дилемма вставала передо мной: в квартире, где я мог надеяться на сохранность моих вещей, окажется, вероятнее всего, хозяйка, которая сочтет подозрительным джентльмена, ведущего двойную жизнь, а у хозяйки, равнодушной к двойной жизни ее постояльцев, вещи мои вряд ли останутся целы. Чтобы разрешить эту дилемму, я и явился к Джонни Апрайту. Это был сыщик, бессменно проработавший тридцать с лишним лет на

Восточной стороне, известный здесь каждому под кличкой «Апрайт» [7], данной ему некогда каким-то осужденным уголовником. И он, как никто другой, мог подыскать мне подходящую квартирную хозяйку и заверить ее, что нечего беспокоиться по поводу моих странных визитов и исчезновений.

Две дочки Апрайта прибежали из церкви, опередив отца. Это были хорошенькие девушки в воскресных платьицах, наделенные болезненно хрупкой красотой, столь характерной для девушек Восточного Лондона, — красотой мимолетной, обманчивой, грозящей поблекнуть так же быстро, как блекнут в небе краски заката.

Они посмотрели на меня с нескрываемым любопытством, как на диковинного зверя, и тут же перестали замечать. Вскоре вернулся и сам Джонни Апрайт, и я был приглашен наверх для беседы с ним.

— Говорите громче, — перебил он меня на первом слове, — я простужен, заложило уши.

Смесь старомодного сыщика и Шерлока Холмса! «Интересно бы знать, — подумал я, — где спрятан у него помощник, который обязан записывать все то, что я найду нужным рассказать?» И поныне, после неоднократных встреч с Джонни Апрайтом, вспоминая это первое свидание с ним, я не могу решить, в самом ли деле ему тогда заложило уши или он прятал помощника в соседней комнате. Но одно совершенно достоверно: несмотря на то, что я чистосердечно изложил Джонни Апрайту все, что касалось моих планов, он воздержался от обещаний, зато на другой день, когда я подъехал к его дому в экипаже, одетый как положено, он встретил меня вполне любезно и пригласил в столовую, где его семейство сидело за чаем.

— Мы люди скромные, — сказал Джонни Апрайт, — жиреть не с чего. Вы уж не взыщите, мы люди скромные.

Дочки Апрайта поздоровались со мной, красные от смущения, а он не только не постарался выручить их, а, наоборот, привел в еще большее замешательство.

— Ха-ха! — раскатисто смеялся он, шлепая ладонью по столу, так что звенела посуда. — Девочки решили вчера, что вы пришли сюда за подаянием. Ха-ха! Хо-хо!

Дочки с негодованием отрицали это, глаза их гневно сверкали, щеки стыдливо алели, — словно обязательным признаком изысканности является умение распознать под лохмотьями человека, у которого нет нужды ходить в лохмотьях.

И после, в то время как я поглощал хлеб с вареньем, дочки пререкались с отцом: они считали оскорбительным, что меня приняли за нищего, а отец говорил, что это величайшая дань моим талантам, раз я сумел так ловко всех провести. Все это меня забавляло и, пожалуй, доставляло не меньше удовольствия, чем хлеб с вареньем и чай; а потом Джонни Апрайт отлучился ненадолго и договорился относительно жилья для меня на той же солидной, богатой улице, в доме по соседству, как две капли воды похожем на его дом.

Глава III. Мое жилище и жилища других

Дверь фабрики — тяжка, прочна,
Внутрь открывается она;
И дверь закрыта тем плотней,
Чем изнутри напор сильней.
А в спертом воздухе народ

Мечту в простор безбрежный шлет,
Где жаворонок песнь поет,
Взлетая в синий небосвод.

Сидней Ланьер[8]

По понятиям Восточного Лондона, комната, которую я снял за шесть шиллингов в неделю, то есть за полтора доллара, являла собой верх комфорта. По американским же понятиям, это была маленькая, убого обставленная и неудобная комнатенка. Когда я внес туда столик для пишущей машинки, там уже негде стало повернуться, и приходилось лавировать, выделывая причудливые зигзаги, требующие величайшей ловкости и изобретательности.

Пристроившись здесь, вернее, пристроив свои вещи, я облачился в свой бедняцкий наряд и вышел прогуляться. Квартирный вопрос занимал мои мысли, и я отправился якобы на розыски жилья, вообразив себя бедным и обремененным семейством молодым человеком.

Прежде всего я сделал открытие, что свободные дома здесь встречаются редко. Настолько редко, что, исколесив большой район, я не нашел ни одного. Ни одного свободного дома — убедительное доказательство перенаселенности района!

Когда стало ясно, что мне, то есть бедному молодому человеку, обремененному семьей, искать себе в этом негостеприимном районе отдельный домик бессмысленно, я перешел к поискам свободных комнат, где можно было бы разместить жену с малышами и весь наш скарб. Не скажу, чтоб таких комнат оказалось много, но кое-что я нашел, правда, сдавались они большей частью по одной. Видимо, считается, что для семьи бедняка довольно и одной комнаты — тут и стряпают, и едят, и спят. Когда я спрашивал, нет ли двух смежных комнат, квартирные хозяйки смотрели на меня так, как, вероятно, смотрел известный диккенсовский персонаж на Оливера Твиста, попросившего у него добавки каши.

Мало того, что одной комнаты считается вполне достаточно для бедного человека с женой и детьми, — многие семьи обнаруживают у себя такие излишки площади, что пускают одного, а то и двух жильцов. Если подобная комната расценивается от трех до шести шиллингов в неделю, то с жильца, снимающего угол (он должен представить рекомендации!), по всей справедливости взимают от восьми пенсов до шиллинга в неделю; он может даже столоваться у своих хозяев — еще за несколько шиллингов. Об этом, однако, я не сообразил разузнать подробнее — недопустимое упущение со стороны человека, который планирует бюджет воображаемой семьи.

Ни в одном из домов, которые я посетил, не имелось ванн, впрочем, я установил, что их не было и в тысячах других домов. Невообразимое предприятие — мыться в жестяном корыте, когда в комнате, кроме твоей семьи, обеспокоенной излишком площади, еще один или два жильца. Но, кажется, отсутствие ванн выгодно народу: можно экономить на мыле — значит, все в порядке, есть еще Господь на небесах! Кроме того, природа в Восточном Лондоне весьма предусмотрительна: ежедневно тут идут дожди, и, хочешь не хочешь, искупаешься на улице.

Санитарное состояние домов, в которые я заходил, ужасающе: неисправная канализация, плохая очистка выгребных ям, течь из водопроводных труб, скверная вентиляция, сырость и грязь кругом. От этого моя жена и дети быстро заработали бы дифтерит, круп, тиф, рожу, гангрену, воспаление легких, чахотку и мало ли какие еще болезни. Смертность тут, должно быть, чрезвычайно высока. Но вдумайтесь хорошенько, какой это мудрый порядок. Для бедняка, обремененного большой семьей, самое разумное — избавиться от нее, и условия жизни в Восточном Лондоне помогут ему в этом. Не исключено, разумеется, что и сам он

погибнет. Особой мудрости тут не видим, но где-то она кроется несомненно. Зато когда постигнешь суть такого прекрасного, хитрого порядка, то может оказаться, что это вовсе не порядок и что-то здесь здорово не так.

Конечно, никаких комнат я не снял и вернулся на улицу Джонни Апрайта, которая теперь уже была и моя улица. Занятый мыслями о жене и детях и о том, куда рассовать их в каморке, где, кроме нас, поселятся в углу еще жильцы, я потерял представление о масштабах и не сразу смог охватить взглядом всю мою комнату. Ее необъятность вызывала благоговейный восторг. Неужели это та самая комната, которую мне сдали за шесть шиллингов в неделю? Быть не может! Но мои сомнения были развеяны хозяйкой, постучавшей в дверь, чтобы узнать, не нужно ли мне чего-нибудь.

— Ах, сэр! — воскликнула она, когда я стал расспрашивать ее. — Наша улица одна теперь такая осталась. Лет восемь — десять назад и другие улицы были не хуже, и жили там очень приличные люди, но всех их вытеснили эти пришлые. Нынче приличного человека нигде, кроме нашей улицы, не сыщешь. Это ужасно, сэр!

И она начала подробно объяснять мне, как протекало вторжение пришельцев и как от этого квартирная плата росла, а репутация района падала:

— Понимаете, сэр, мы ведь не привыкли к такой тесноте, не то что другие. Мы вот живем в отдельном домике, а эта голытьба и разные там иностранцы готовы втиснуться в такой дом по пять, по шесть семейств. Понятно, что хозяин собирает с них больше, чем с нас! Это ужасно, сэр! И подумать только, был такой хороший район всего несколько лет назад!

Я пригляделся к ней. Вот женщина, воплощающая в себе лучшие черты английского рабочего класса, по-видимому, из хорошей семьи, и ее медленно захлестывает шумный и грязный людской поток, который власти предержащие гонят на восток от Лондона. Нужно строить банки, фабрики, гостиницы, конторские здания... А что такое городская беднота, бродячее племя! И она отступает на Восточную сторону волна за волной, вытесняя оттуда старожилов, превращая в трущобы квартал за кварталом, принуждая более солидных рабочих уходить в еще необжитые предместья Лондона или затягивая к себе на дно если не их самих, то уж детей и внуков несомненно.

Очередь за улицей Джонни Апрайта. Остаются считанные месяцы. Джонни и сам это понимает.

— Через два года истекает срок моей аренды, — говорит он. — Владелец наших домов — свой человек. Он не повысил квартирной платы ни нам, ни соседям, и потому мы пока еще продержались. Но в любой день он может продать свое имущество или умереть; для нас и то и другое будет одинаково плохо. Этот дом купит какой-нибудь спекулянт, построит потогонную мастерскую на клочке земли за домом, где у меня виноград вьется по забору, сделает пристройку и начнет сдавать по одной комнате семейным. Вот и все! И Джонни Апрайту крышка!

И я живо представил себе, как Апрайт и его почтенная супруга вместе с хорошенькими дочками и растрепанной «рабыней», словно призрачные тени, бегут на восток, а город-чудовище с ревом настигает их.

Но Джонни Апрайт — это еще не все. Далеко, на самой окраине города, обитают мелкие коммерсанты, управляющие карликовых фирм, удачливые служащие. Они живут в отдельных домиках или в тесных дачках на две семьи, с крошечными садиками, где растут цветы; у них

попросторнее, чем в других местах, дышать еще можно. Они горделиво выпячивают грудь, когда заходит разговор о Бездне, которой они сумели избежать, и возносят хвалу всевышнему за то, что он сделал их не такими, как других людей! И вдруг… врывается Джонни Апрайт, а следом за ним несется город-чудовище. Как по волшебству, вырастают доходные дома, садики застраиваются, дачи перегораживаются на каморки, и черная лондонская ночь окутывает все своим грязным покровом.

Глава IV. Человек и бездна

Потом заговорил еще один горшок,
Что в стороне стоял, шершав и кривобок
«Смеются надо мной, твердят, что я уродлив —
Так, значит, хорошо лепить Гончар меня не мог?»

Омар Хайям

— Скажите, у вас тут сдается что-нибудь?

Этот вопрос я бросил небрежно, полуобернувшись к пожилой толстой женщине, которая подавала мне еду в грязной кофейне неподалеку от Пула и Лаймхауза[9].

— Сдается, — отрезала она, решив, вероятно, что мой внешний вид не обещает того минимума состоятельности, который требуется для проживания в ее доме.

Я не сказал больше ничего и принялся молча дожевывать ломтик бекона, запивая его жидким чаем. Она тоже не обращала на меня ни малейшего внимания, пока я не вытащил из кармана монету в десять шиллингов, дабы расплатиться за свой завтрак стоимостью в четыре пенса. Желаемый эффект был достигнут.

— Да, сэр, — сразу оживилась она. — У меня отличное помещение, наверняка вам понравится. Вернулись из морской поездки, сэр?

— Сколько вы хотите за комнату? — спросил я, не стремясь удовлетворить ее любопытство.

Она оглядела меня с нескрываемым изумлением.

— Комнат я не сдаю даже своим постоянным жильцам, а уж чужим-то и подавно.

— Придется, значит, поискать в другом месте, — сказал я, делая огорченное лицо.

Но вид моих десяти шиллингов придал ей настойчивость.

— Я могу предложить вам очень хорошую койку в комнате, где у меня живут всего двое. Очень почтенные люди, постоянные жильцы.

— Но я не хочу спать вместе с чужими людьми, — отвечал я.

— Да вам и не придется. Там три постели, и комната не такая уж маленькая.

— Ну, а сколько это будет стоить? — спросил я.

— С постоянных жильцов я беру полкроны в неделю — два шиллинга шесть пенсов. Вам понравятся соседи, я уверена. Один из них служит на складе и живет у меня третий год. А

второй вот уже шесть лет. Да, сэр, шесть лет и два месяца как раз будет в ту субботу. Он рабочий сцены, — продолжала она рассказывать, — приличный, солидный человек, работает вечерами и за все шесть лет ни одного прогула. И он очень доволен, говорит, что лучшего жилья не найти. Он у меня столуется и другие жильцы тоже.

— Небось, даже откладывает денежки, — ввернул я с невинной физиономией.

— Да нет, что вы, Господь с вами! Но в другом месте он не мог бы прожить так хорошо на свой заработок.

Тут я подумал о моем родном просторном Западе, под небом которого можно было бы разместить тысячу таких городов, как Лондон, и всем хватило бы воздуха; а вот здесь этот человек — положительный, строгих правил, за шесть лет ни одного прогула, скромный и честный — ютится в одной комнате с двумя другими мужчинами за два доллара пятьдесят центов в месяц на наши деньги, зная по опыту, что лучшего ему не найти. И невесть откуда прихожу я и благодаря своим десяти шиллингам водворяюсь со всем своим тряпьем на соседнюю с ним кровать. Человеческая душа знакома с тоской, но как, наверное, бывает ей тоскливо, когда в комнате три кровати и любой случайный прохожий может занять одну из них, если у него есть десять шиллингов в кармане!

— Давно вы здесь живете? — спросил я.

— Тринадцать лет, сэр. Ну, как вы решаете?

Разговаривая со мной, она не переставала грузно передвигаться по маленькой кухне, где готовила пищу для своих квартирантов. Я застал ее за работой, и она ни на секунду не оторвалась от своих дел. Несомненно, у этой женщины уйма хлопот: «встаешь в половине шестого, ложишься ночью, когда все уже спят, работаешь, пока не свалишься с ног», — и так все тринадцать лет; а наградой за это седая голова, засаленное платье, сутулая спина, расплывшаяся фигура и бесконечный труд в грязной и шумной кофейне, окна которой отстоят на десять футов от стены соседнего дома, в окружении портовых трущоб, мрачных и грязных, чтобы не сказать больше.

— Вы сюда еще заглянете? — спросила она с робкой надеждой в голосе, когда я уже отворял дверь.

Я посмотрел на нее и только тут ощутил всю правду мудрого старого изречения: «Добродетель сама себе награда».

Я снова шагнул к ней.

— У вас была когда-нибудь передышка? — спросил я.

— Передышка?

— Ну да, денька два в деревне, отдых на свежем воздухе?

— Боже упаси! — Она начала смеяться и впервые даже отвлеклась от работы. — Отдых! Отдых для нашего брата? Нет, подумать только! — И вдруг крикнула мне: — Эй, осторожно! — так как я в эту секунду споткнулся о прогнившую доску порога.

Возле Вест-индских доков я заметил молодого парня, который уныло глядел на мутную воду реки. Кочегарская кепка, сдвинутая на глаза, и покрой его помятой одежды сразу изобличали

в нем моряка.

— Здорово, приятель! Не скажешь ли, как пройти в Уоппинг? — спросил я его, чтобы начать разговор.

— С парохода? Ехал проводником скота? — в свою очередь спросил он, мгновенно угадав мою национальность.

Завязалась беседа, которую мы продолжили в трактире за двумя пинтами дешевого пива, темного со светлым пополам. Это сблизило нас настолько, что, когда я выгреб из кармана на шиллинг медяков (давая понять, что это — вся моя наличность) и, отделив шесть пенсов на ночлег, выложил остальные на пиво, он великодушно предложил пропить весь шиллинг.

— Мой сосед по комнате так скандалил вчера ночью, что полисмены забрали его, — сказал он. — Можешь спать на его койке. Идет?

Я согласился и, распив с ним на целый шиллинг пива и проведя ночь в жалкой конуре, на жалкой постели, составил себе некоторое представление об этом парне. Позднее я по опыту убедился, что в каком-то отношении он является довольно типичным представителем большинства лондонских чернорабочих.

Он родился в Лондоне, отец его был пьяница-кочегар, и сын пошел по его стопам. Домом для ребенка служили улицы и доки. Читать он не научился и никогда не испытывал в этом потребности, убежденный, что грамота — никчемное дело, во всяком случае, для человека в его положении.

У него была мать и куча горластых братьев и сестер. Они ютились в двух комнатенках, питались скверно, а то и вовсе голодали, и себя одного он мог прокормить лучше. Поэтому он редко являлся домой, только в тех случаях, когда совсем уже нечего было есть. Он воровал, попрошайничал на улицах и пристанях, дважды плавал на пароходе слугой в кают-компании, потом несколько раз помощником кочегара и достиг вершины, став, наконец, кочегаром.

За это время он выработал себе жизненную философию, довольно мерзкую и отталкивающую, но, с его точки зрения, весьма здравую и логичную. Когда я спросил, для чего он живет, он отвечал не задумываясь: «Да чтоб выпить». Наймется на пароход (ведь подработать-то надо!), в конце плавания — расчет и грандиозная попойка. Затем выпивки поскромнее, от случая к случаю, выклянченные в кабаках у приятелей, вроде меня, не успевших еще растратить свои медяки; а потом, когда и этот источник иссякнет, — опять пароход и весь дьявольский круг сначала.

— А женщины? — поинтересовался я, когда он кончил восхваление попойки как единственной цели существования.

— Что женщины! — Он стукнул кружкой о стойку и заговорил с горячностью: — Известно, что это за народ! Лучше держаться от них подальше. Не стоит, приятель, с ними связываться, верь слову, не стоит. Ну, на что женщины такому, как я? Скажи сам. Вот, к примеру, моя мать. Она драла ребятишек и отравляла жизнь отцу, когда он приходил домой, хоть, по правде сказать, домой он и заглядывал-то редко. А почему редко? Из-за нее же. Потому что дома ему было не сладко. А другие женщины, думаешь, лучше обращаются с бедным кочегаром, если у него завелось вдруг несколько шиллингов в кармане? Он мог бы выпить на эти деньги, мог бы здорово напиться, а они в момент все выпотрошат — и конец, даже на рюмочку не останется. Мне это все известно. Я-то погулял вволю и знаю, что к чему. И еще скажу тебе: где женщины, там и неприятности — крики, ругань, драки, поножовщина, полисмены, суд. А знаешь, что за

это дают? Месяц тяжелых работ. И никакой тебе получки, когда выйдешь оттуда.

— Но подумай, жена и дети, семейный очаг и всякое такое, — назидательно заговорил я. — Вот ты вернулся из плавания, малыши карабкаются к тебе на колени, жена счастлива, улыбается, ставя обед на стол, целует тебя, и детишки чмокают папу перед сном, и чайник на плите насвистывает песенку, а вы долго еще говорите и наговориться не можете, и ты рассказываешь ей, где ты был и что видел, а она тебе — про разные домашние дела, про все, что тут без тебя произошло, и…

— Да ну тебя! — крикнул он, шутливо ткнув меня кулаком в плечо. — Шутки со мной шутишь, а? Хозяюшка с поцелуями, и детишки с ласками, и чайник с песенкой — и все это за четыре фунта десять шиллингов в месяц, если тебя взяли на пароход, а если не взяли, — тогда шиш! Нет, друг, я тебе сейчас расскажу, что я получу на свои четыре фунта десять шиллингов. Жена скандалит, дети пищат, в доме угля ни кусочка, так что чайнику и петь не с чего, да и чайник-то сам заложен в ссудной лавке! Вот тебе и вся картина. Поневоле рад будешь удрать на пароходе. Хозяюшка! На кой черт она мне? Чтобы жизнь отравляла? Детки? Мой тебе совет, друг, не заводи ты их. Посмотри на меня. Я могу выпить кружку пива, когда захочу, и никакая хозяюшка и никакие детки не требуют от меня хлеба. И я счастлив — да, да! — что у меня есть пиво и приятели — вот как ты, и что скоро придет хороший пароход и я опять уеду куда-нибудь. По сему случаю давай выпьем еще по кружке. Светлое с темным пополам будет в самый раз.

Нет нужды передавать здесь все, что он говорил; кажется, я уже достаточно очертил жизненную философию этого двадцатидвухлетнего парня и ее экономическую основу. Домашней жизни он не изведал. Слово «дом» вызывало в его сознании одни лишь неприятные ассоциации. Ничтожный заработок отца и других мужчин его круга давал ему достаточный повод считать жену и детей обузой и причиной всех мужских несчастий. Бессознательный гедонист, чуждый всякой морали и проникнутый практицизмом, он искал для себя высшего счастья и находил его в вине.

Пропойца уже в молодые годы и задолго до старости — развалина; а когда работать кочегаром станет не под силу, — канава или работный дом, и — конец… Он сам понимал все не хуже меня, но его это не страшило. С самого рождения жизненные обстоятельства огрубляли его душу, и он смотрел на свое неизбежное печальное будущее с холодным безразличием, поколебать которое оказалось мне не под силу.

И все же он был неплохой малый — не злой и не жестокий от природы. Он обладал нормальными умственными способностями и более чем недурной внешностью: у него были широко расставленные, оттененные длинными ресницами большие голубые глаза, в которых то и дело мелькали искорки смеха, свидетельствуя о хорошем чувстве юмора; правильные черты лица, красивые брови, нежно очерченный рот, хотя губы уже научились кривиться в жесткой усмешке. Правда, подбородок был невелик, впрочем, не так уж и мал, — я видывал людей с куда менее внушительным подбородком, занимающих разные высокие посты.

Красивая голова ловко сидела на великолепной шее, и я не удивился, увидев его тело, когда он скинул одежду, чтобы лечь спать. В гимнастических залах и на спортивных площадках мне не раз приходилось видеть оголенных мужчин весьма благородного происхождения и утонченного воспитания, но ни один из них не мог поспорить сложением с этим двадцатидвухлетним пьяницей, с этим юным богом, обреченным превратиться в развалину через каких-нибудь пять лет и исчезнуть с лица земли, не оставив потомства, которому он мог бы передать столь замечательное наследство.

Казалось бы, грех растрачивать таким образом жизнь, но все же я вынужден был признать, что

он прав: где уж обзаводиться семьей в Лондоне на четыре фунта десять шиллингов! А тот рабочий сцены — разве он не счастливее, чем женатые, живя в обществе двух посторонних мужчин и тратя на себя одного свой заработок? Каково бы ему пришлось, если бы он втиснулся с хворым семейством в комнатенку еще более дрянную, чем его теперешняя, да впустил туда вдобавок каких-то квартирантов, и все равно не сводил бы концы с концами!

С каждым днем я все больше убеждался, что жениться для людей Бездны не только не разумно, но даже преступно. Они — камни, отвергнутые строителями. Для них нет места в жизни: все силы общества гонят их вниз, на дно, где их ждет гибель. На дне Бездны они становятся хилыми, безвольными, слабоумными. Если они плодятся, то потомство их гибнет, — жизнь здесь стоит дешево. Где-то над ними в мире идет созидательная работа, но принять в ней участие они не хотят, да и не могут. Впрочем, мир не нуждается в них. Там, наверху, есть достаточно людей, более приспособленных, которые цепляются изо всех сил за крутые склоны над Бездной, отчаянно стараясь не сорваться вниз.

Короче: лондонская Бездна — это громадная бойня. Год за годом, десятилетие за десятилетием сельская Англия вливает в город все новые и новые людские силы, но силы эти не только не приумножаются, а уже к третьему поколению исчезают вовсе. Специалисты говорят, что лондонский рабочий, родители и деды которого родились в Лондоне, представляет собой весьма редкостное явление.

М-р А. С. Пигу заявил, что престарелые бедняки и все прочие, кого называют «низы» общества, составляют семь с половиной процентов жителей Лондона. Иными словами, и год назад, и вчера, и сегодня, в данную минуту, четыреста пятьдесят тысяч душ гибнут на дне социальной преисподней, название которой «Лондон». Как они гибнут, покажу на примере из сегодняшней газеты.

НЕБРЕЖНОСТЬ

«Вчера д-р Уинн Уэсткотт производил судебное следствие в Шордиче по делу скончавшейся в среду Элизабет Круз, семидесяти семи лет, проживавшей на Ист-стрит, дом 32, Холборн. Элис Матисон сообщила, что она является владелицей дома, в котором квартировала покойная. Свидетельница в последний раз видела Круз за два дня до смерти, то есть в понедельник. Круз была совершенно одинока. Попечитель района Холборн м-р Фрэнсис Берч показал, что покойная в течение тридцати пяти лет проживала в одной и той же комнате. Вызванный к ней первого числа, свидетель нашел старуху в ужасном состоянии; после отправки ее в больницу пришлось подвергнуть дезинфекции карету скорой помощи и кучера. Д-р Чейс Феннелл заявил суду, что смерть была вызвана заражением крови от пролежней, вследствие небрежного отношения больной к себе и грязи в комнате, и суд вынес соответствующее заключение».

В этом маленьком происшествии больше всего поражает то самодовольное равнодушие, с которым официальные лица отнеслись к смерти женщины и вынесли свое заключение. Сказать, что старуха семидесяти семи лет умерла от небрежного отношения к себе, — это, право же, значит проявить наивность. Старуха сама виновата в том, что умерла. И вот, найдя виновного, общество со спокойной совестью возвращается к своим делам.

По поводу так называемых низов общества м-р Пигу сделал следующее заявление:

«Физическое слабосилие, или недостаточное умственное развитие, или отсутствие силы воли, а иногда и все три фактора, вместе взятые, делают одних неспособными, других нерадивыми рабочими, вследствие чего они не могут прокормить себя… многие из них находятся на таком низком уровне развития, что не умеют отличить правую руку от левой или прочесть на двери

номер своего дома; хилые телом, они не обладают выносливостью; у них нет нормальных чувств и привязанностей, и мало кто из них знает, что такое семейная жизнь».

Четыреста пятьдесят тысяч человек — это уйма народу. Молодой кочегар был лишь одним из них, и ему понадобилось некоторое время, чтобы поведать мне свою нехитрую повесть. Я бы не хотел услышать всех этих людей разом. Но интересно знать, слышит ли их Бог?

Глава V. Те, кто на краю

Поверьте, я не видел ничего более
ужасного, более унизительного, более
безнадежного, чем эта тоскливая,
несчастная жизнь, которую я оставил
там, в Восточном Лондоне.

Хаксли[10]

Само собой разумеется, что мое первое впечатление о Восточном Лондоне было поверхностным. Позднее передо мной стали вырисовываться детали, и среди хаоса бедствий я обнаружил отдельные уголки, где царило относительное благополучие, — иногда это были целые ряды домов в тихих незаметных переулках. Они заселены ремесленниками, и там живут по-семейному, хотя это и весьма примитивная жизнь. По вечерам мужчины сидят на улице возле дома — трубка в зубах, на коленях ребенок; а жены их, собравшись кучками, сплетничают. Слышатся смех и шутки. Эти люди явно довольны своим существованием, ибо по сравнению с окружающей нищетой им живется хорошо.

И все же в лучшем случае — это тупое, животное счастье, довольство сытого брюха. Материальная сторона жизни играет тут главенствующую роль. Это люди скучные, ограниченные, недалекие. Бездна создает отупляющую атмосферу апатии, которая засасывает людей и гасит в них все живое. Вопросы религии не трогают их; тайны бытия не вызывают ни страха, ни восторга. Им даже невдомек, что есть какие-то тайны бытия. Набить брюхо, пососать вечером трубку да выпить кружку дешевого пива — вот все, что они стараются взять от жизни или о чем мечтают.

И уж пусть бы это было все; но это не все. Самодовольное отупение этих людей представляет собой убийственную инерцию, за которой следует полный распад. Прогресса нет; а раз они не идут вперед — значит, катятся назад, в Бездну. Для них самих это, быть может, только начало падения, но его завершат их дети и внуки. Жизнь всегда дает человеку меньше, чем он от нее требует, — а тут люди требуют такую малость, что, получая меньше малого, они уже обречены на гибель.

Городская жизнь вообще чужда природе человека, что же касается лондонской жизни, то для простого рабочего или работницы она предельно чужда и губительна. Тело и душу разрушают непрестанно действующие силы. Падает моральная и физическая выносливость. И хорошие крестьяне, попав из деревни в город, становятся плохими рабочими, а их потомство уже теряет всякую инициативу и энергию и не способно даже к такой физической работе, какую выполняли отцы, и тогда остается только один путь — в Бездну.

Даже самый воздух, которым дышат здесь днем и ночью, так расслабляет тело и мозг, что городской рабочий не способен конкурировать с тем, кто, полный жизни и сил, прибывает из деревни в Лондон, чтобы уничтожать и, в свою очередь, быть уничтоженным.

Забудем на время о болезнетворных микробах, которыми насыщен воздух Восточного Лондона, рассмотрим один только фактор — дым. Сэр Вильям Тислтон-Дайер, куратор Ботанического сада, давно уже занимается изучением влияния дыма на растения. По его подсчетам, не меньше шести тонн твердого вещества, состоящего из сажи и смол, осаждается в неделю на каждой четверти квадратной мили территории Лондона и его окрестностей. Иными словами, на одну квадратную милю — двадцать четыре тонны, или тысяча двести сорок восемь тонн в год. Не так давно с карниза под куполом собора св. Павла было снято отложение кристаллического сернокислого кальция, образовавшееся в результате взаимодействия серной кислоты воздуха с углекислым кальцием камня. А этой серной кислотой лондонские рабочие день и ночь непрерывно дышат.

И вот неизбежно дети превращаются в худосочных, малосильных, недоразвитых взрослых. Это рахитичное, узкогрудое, вялое племя, неспособное устоять перед наступающими деревенскими ордами и терпящее поражение в жестокой борьбе с ними. Деревня поставляет Лондону железнодорожных рабочих, носильщиков, кучеров омнибусов, грузчиков — всех тех, от кого требуется физическая выносливость. В числе лондонских полисменов — двенадцать тысяч выходцев из деревни и только три тысячи родившихся в Лондоне.

Итак, мы вынуждены сделать заключение, что Бездна — это поистине колоссальная человекоубойная машина, и когда я прохожу по тихим переулкам Восточной стороны и вижу у дверей домов плотно наевшихся ремесленников, я думаю о том, что их ждет больше горестей, чем тех четыреста пятьдесят тысяч несчастных, что погибают на самом дне преисподней. Те-то уже гибнут, для них все кончено; а этим предстоит еще пройти через многочисленные стадии медленного и мучительного процесса умирания в двух или даже в трех поколениях.

А ведь все это хороший человеческий материал! В нем заложены все превосходные качества. В нормальных условиях он мог просуществовать много столетий и дать миру великих людей, героев, творцов, которые, в свою очередь, сделали бы жизнь на земле краше.

Я беседовал с одной женщиной, судьба которой типична для людей этой среды, — ее уже выбросило из такого тихого переулка и понесло по роковой наклонной вниз. Ее муж — механик, член профсоюза. Он не может получить постоянной службы, значит, надо полагать, работник он неважный: не хватает энергии или предприимчивости, чтобы добиться приличного места и удержать его за собой.

У них две дочери. Вчетвером они занимают две конурки, из вежливости называемые комнатами, и платят за них семь шиллингов в неделю. Плиты нет, для приготовления пищи имеется только одна газовая конфорка, вделанная в камин. Они недостаточно состоятельные люди, чтобы им отпускали неограниченное количество газа в кредит, — для их блага в доме установлен хитроумный счетчик. Вы бросаете в отверстие одно пенни — и получаете ровно на пенни газу. Как только вы выжгли, что вам причиталось, подача автоматически прекращается.

— Не успеешь оглянуться, как уже сгорело на пенни, а свариться еще ничего не сварилось, — пожаловалась мне эта женщина.

Уже много лет ее семья влачит полуголодное существование. Каждый день они встают из-за стола с желанием поесть еще. А когда человек катится по наклонной плоскости в Бездну, хроническое недоедание понижает его жизнеспособность и значительно ускоряет этот процесс.

А ведь женщина, о которой идет речь, — труженица. Она рассказала мне, что с половины пятого утра до поздней ночи шьет шерстяные юбки с двумя воланами, и за дюжину ей платят

семь шиллингов. Нет, вы только подумайте: за дюжину шерстяных юбок, отделанных двумя воланами, семь шиллингов! То есть доллар семьдесят пять центов, меньше пятнадцати центов за каждую юбку!

Для того чтобы получать работу, муж должен быть членом профсоюза и платить взносы — один шиллинг шесть пенсов еженедельно. А вспыхни где-нибудь забастовка, ему, если он в это время работает, приходится вносить в фонд взаимопомощи союза целых семнадцать шиллингов.

Старшая дочь работала ученицей у портнихи за шиллинг шесть пенсов в неделю (на наши деньги — тридцать семь с половиной центов, или чуть побольше пяти центов в день). Однако, когда наступило сезонное затишье, ее уволили, хотя нанимали ее за эту мизерную плату, с обещанием обучить ремеслу и повысить в должности. После этого она три года работала за пять шиллингов в неделю в магазине, где продают велосипеды, ходила пешком по две мили на работу и домой и подвергалась штрафу, если опаздывала.

Что касается родителей, то их песенка спета. Они потеряли опору и катятся в Бездну. А что же станет с дочерьми? Живя в скотских условиях, ослабленные хроническим недоеданием, истощенные умственно, морально и физически, могут ли они надеяться избегнуть Бездны, куда их втягивает с самого рождения?!

Я пишу эти строки, а за окном, на соседнем дворе, уже целый час идет неистовая драка, форменная свалка, доступная для всеобщего обозрения. Вначале, услыхав какой-то визг, я подумал, что сцепились собаки, и не сразу уразумел, что эти дикие звуки издают человеческие существа, мало того — женщины.

Драка пьяных женщин! Об этом даже подумать противно. А каково все это слушать! Происходит примерно следующее. Что-то нечленораздельное орут во всю глотку несколько женщин зараз, потом умолкают, и становится слышно, как плачет ребенок и какая-то девочка кого-то о чем-то умоляет. Затем вдруг истошный голос женщины:

— Ударь! Только сунься!

И — бах, бах! — вызов принят, драка возобновляется.

Окна домов, выходящие во двор, облепили восторженные зрители; я слышу удары и такую отборную ругань, что кровь стынет в жилах.

На минуту все затихает. Затем:

— Оставь ребенка в покое!

Ребенок — должно быть, совсем еще малыш — от страха вопит благим матом.

— Ну, держись! — выкрикивает раз двадцать подряд тот же пронзительный голос. — Получишь вот этим камнем по голове! — И, по всей вероятности, кто-то получает камнем по голове, потому что вдруг раздается оглушительный визг.

Опять все затихает: видимо, одна из воюющих сторон временно выведена из строя и ей оказывают первую помощь; снова слышен плач ребенка, но голос его постепенно слабеет: ребенок запуган и изнемог от плача.

Потом крики вновь начинают нарастать:

— Ах, так?

— Так!

— Так??

— Так!!

— Так???

— Так!!!

Обе уже достаточно подтвердили свою непримиримость, и схватка опять обостряется. Одна из сторон, должно быть, получает значительный перевес и пользуется им вовсю, если судить по крикам другой стороны: «Караул! Убивают!» Внезапно крики начинают прерываться, глохнуть: очевидно, женщину душат.

Тут вступают новые голоса — идет развернутая атака по всему фронту; руки оторваны от горла жертвы, и возобновляются крики: «Караул! Убивают!» — теперь уже октавой выше. Общая потасовка. Орут все.

Передышка. Тишину прорезает новый голос — девочки или молоденькой девушки:

— Я тебе отплачу за маму!

Затем раз пять подряд повторяется такой диалог:

— Буду делать, что захочу… (нецензурное слово).

— А ну, попробуй… (нецензурное слово).

Драка разгорается с новой силой; в ней участвуют и матери, и дети, и все, кому не лень. В этот момент я слышу, как моя квартирная хозяйка с заднего крыльца зовет домой свою маленькую дочурку, и я предаюсь размышлениям о том, какое влияние окажет все, что она услышала во дворе, на ее юную душу.

Глава VI. Переулок Фраинг-Пэн, или Я заглядываю в ад

Мир — это хлев, а мы в нем — скот,
Что чувствует голод, ест и мрет.
«От свинства ничто, увы, не спасет» —
Так скажет иной и мимо пройдет.

Сидней Ланьер

Мы шагали втроем по Майл-Энд-роуд, и один из моих спутников был личностью героической. Худенький девятнадцатилетний юноша, настолько тщедушный, что казалось, малейшее дуновение ветерка может свалить его, подобно Фра Филиппо Липпи[11], с ног. Он был пламенный социалист, полный юношеского энтузиазма и готовности принять муки за человечество. С немалой опасностью для себя он активно выступал в роли оратора и председателя на многочисленных митингах в защиту буров, которые устраивали несколько лет назад в разных помещениях и под открытым небом, нарушая безмятежный покой «доброй старой Англии». Он поведал мне некоторые эпизоды из своей деятельности: как на него

нападали в парках и вагонах трамвая; как он лез на трибуну, не имея никаких шансов на успех, ибо разъяренная толпа стаскивала с подмостков одного оратора за другим и жестоко их избивала; как, укрывшись в церкви, он с тремя товарищами отбивал осаду толпы под градом камней и осколков стекла, пока их не спасла полиция. Он описал мне жестокие стычки на лестничных площадках, на балконах и галереях — выбитые окна, разрушенные лестницы, развороченные лекционные залы; страшные увечья — размозженные черепа и перебитые кости. А потом, поглядев на меня, добавил с печальным вздохом:

— До чего я завидую таким, как вы, — рослым, сильным мужчинам! Я такой заморыш. Ну какая от меня польза, когда дело доходит до драки!

Я был на целую голову выше моих спутников и невольно вспомнил, какие у нас на Западе все рослые и как я там, в свою очередь, всегда с завистью смотрел на каждого высокого, плечистого человека. Потом, оглядев этого юношу с хрупким телом и с сердцем льва, я подумал, что такие, как он, в нужный час воздвигают баррикады и доказывают миру, что люди еще не разучились умирать, как герои.

Тут в разговор вмешался второй мой спутник, человек лет двадцати восьми, рабочий потогонной мастерской.

— А я вот здоровяк! — заявил он. — Не то, что другие парни у нас в мастерской. Меня все ставят в образец: таким и должен быть мужчина. Я вешу целых сто сорок фунтов[12]!

Мне было совестно признаться, что я вешу сто семьдесят, и я промолчал, разглядывая его. Какой он нескладный, низкорослый! Землистое лицо, скрюченное, потерявшее человеческое подобие тело, впалая грудь, согнутые от бесконечных часов изнурительной работы плечи, тяжело свисающая голова, словно ее не держит шея. Да, уж воистину здоровяк!

— Какого вы роста?

— Пять футов два дюйма, — гордо ответил он, — а ребята у нас в мастерской…

— Вы показали бы мне вашу мастерскую, — попросил я.

Сейчас в мастерской не работали, но мне все же хотелось зайти туда. Миновав Леман-стрит, мы взяли влево на Спайтелфилдз и нырнули в переулок Фраингпэн. На грязных тротуарах копошились дети, словно лягушата на дне пересохшего пруда. Мы подошли к дому. Дверь была настолько узка, что нам пришлось перешагнуть через женщину, которая, сидя с беззастенчиво обнаженной грудью и оскверняя своим видом святость материнства, кормила младенца. Далее, ощупью пробравшись сквозь узкий темный подъезд, битком набитый детворой, мы оказались на грязной-прегрязной лестнице и, минуя крошечные площадки, заваленные всякими отбросами, поднялись на третий этаж.

В этой трущобе, называемой домом, семь комнат. В шести из них живет более двадцати человек обоего пола и различного возраста. Каждая комната имеет площадь шесть-семь квадратных метров. В ней стряпают, едят, спят и работают. Мы вошли в последнюю комнату — в мастерскую. Обычно здесь трудятся, не разгибая спины, пять человек. Почти все помещение занимает стол. На нем я увидел пять сапожных колодок, но не мог понять, где же тут можно работать, если всюду навалены кучи картона, кожи, обувных заготовок и прочего материала, требующегося для того, чтобы получился готовый башмак.

В соседней каморке живет женщина с шестью детьми. В другой грязной дыре — вдова с единственным сыном, шестнадцати лет, который умирает от чахотки. Эта женщина торгует на

улице леденцами, и лишь в редкие дни ей удается заработать на три кварты молока для сына. А мясо этот слабый, умирающий юноша получает не чаще чем раз в неделю, и то такого качества, что трудно даже понять, как люди могут есть подобные отбросы.

— Кашляет он страшно! — сказал мой приятель-сапожник. — Ужас! Нам здесь все слышно. Просто ужас!

А я подумал, что этот кашель и эти леденцы, которыми торгует мать туберкулезного больного, представляют собой еще одну зловещую опасность для детей, населяющих здешние трущобы.

Итак, в этой вот конуре трудится мой приятель и четверо его товарищей, когда, конечно, у них есть работа. Зимой лампа горит почти целый день, и керосиновый чад насыщает и без того убийственно тяжелый воздух, и этим воздухом люди снова, снова и снова наполняют свои легкие.

Когда бывает много работы, мой приятель зарабатывает до тридцати шиллингов в неделю. Подумайте! Тридцать шиллингов — семь долларов пятьдесят центов!

— Но так заработать могут только лучшие мастера, — подчеркнул он, — а спину-то гнешь двенадцать, тринадцать, а когда и четырнадцать часов в день. Да, уж потогонный труд в полном смысле слова: пот некогда отереть! Взглянули бы на нас, у вас бы в глазах зарябило: гвозди так и летят изо рта, будто из машины. Поглядите мне в рот.

Я глянул. Зубы были гнилые и черные, как уголь, — вся эмаль с них содрана гвоздями.

— А ведь я их чищу, — сказал он, — не то были бы еще страшней.

Он рассказал, что рабочие обязаны иметь собственные инструменты, покупать за свой счет приклад, гвозди, картон, платить за помещение и керосин. И мне стало ясно, что при таких условиях от тридцати шиллингов — немного остается.

— Сколько же продолжается такой сезон, когда вы зарабатываете по тридцать шиллингов?

— Четыре месяца, — был ответ.

Обычный недельный заработок в остальное время года — от полуфунта до фунта стерлингов, то есть от двух с половиной до пяти долларов. Сегодня, например, уже четвертый день недели пошел, а он заработал только четыре шиллинга, иными словами, один доллар. И тем не менее меня старались уверить, что из всех потогонных ремесел сапожное — самое выгодное.

Я посмотрел в окно, надеясь увидеть дворики соседних владений. Но никаких двориков не оказалось, вернее, они были сплошь застроены одноэтажными лачугами, хлевами, в которых жили люди. Крыши лачуг были завалены мусором, местами чуть ли не на два фута, — его выбрасывали сверху из окон жители соседних домов. Чего только я там не увидел! Мясные и рыбные кости, овощные очистки, тряпки, рваные башмаки, глиняные черепки — в общем, все отбросы человеческого хлева.

— Скоро нашей работе конец: в этом году поставят машины, а нас тогда в шею, — печально сказал сапожник, когда мы, спустившись вниз, снова перешагнули через женщину с голой грудью и пошли пробираться сквозь толпы уличной детворы.

Отсюда мы прошли в муниципальные жилые дома, выстроенные Советом лондонского графства на месте старых трущоб, где некогда жил «Сын Джего» Артура Моррисона[13]. Хотя народу

теперь сюда вселилось еще больше, условия жизни все же улучшились. Однако в новые дома попали наиболее обеспеченные рабочие и ремесленники. Выселенные же обитатели трущоб либо еще плотнее набились в другие трущобы, либо создали где-нибудь новые трущобы.

— А теперь, — сказал «здоровяк» — сапожник, который работает быстро, как машина, — я покажу вам легкие Лондона. Это Спайтелфилдзский сад. — На слове «сад» он сделал язвительное ударение.

Тень от храма Христа падает на Спайтелфилдзский сад, и в тени христова храма в три часа дня глазам моим предстало такое зрелище, какого я никогда не хотел бы увидеть вновь. Там не растет ни единого цветка, в этом саду, в этом крошечном садике, который меньше моего американского розария, — там есть только трава; и, как все сады и парки в Лондоне, он обнесен острозубой железной оградой, чтобы бездомный люд не мог проникнуть туда ночью и соснуть на траве.

У входа в сад нас обогнала старуха лет шестидесяти. Она шла размеренным шагом, слегка пошатываясь под тяжестью двух перекинутых через плечо мешков, свисавших ей на грудь и на спину. Бездомная, несчастная женщина, сохранившая, впрочем, настолько человеческое достоинство, чтобы бояться как огня работных домов. Как улитка, тащила она на себе свой домик. В этих двух мешках умещалось все ее хозяйство: белье, одежда, разные дорогие женскому сердцу мелочи.

Мы двинулись по узкой дорожке, посыпанной гравием. По обеим сторонам на скамьях сидели люди, уродливый и жалкий вид которых вызвал бы у Доре[14] такой мрачный полет фантазии, какого он не знал за всю свою жизнь. Скопище тряпья и грязи, отвратительные кожные болезни, раны, кровоподтеки, хамство, уродство и непристойность. Дул холодный, пронизывающий ветер, иные спали, закутавшись в свои лохмотья, другие пытались заснуть. Я насчитал там более десятка женщин — в возрасте от двадцати до семидесяти лет — и видел даже младенца, который спал на голой скамье, без одеяла и подушки, и никого с ним рядом не было. Подальше шестеро мужчин спали сидя, прислонившись друг к другу. На соседней скамье разместилось семейство: жена дремала, держа на руках спящего ребенка, а муж (или самец, если угодно) неумело чинил порванный башмак. Дальше женщина подравнивала ножом истрепанный подол юбки, а другая, вооружившись иглой, зашивала какие-то лохмотья. Рядом мужчина держал в объятиях спящую женщину. Еще один, весь в грязи — видимо, он побывал в канаве, — спал, уткнув голову в колени женщины лет двадцати пяти. Она тоже спала.

Я был поражен этой картиной. Почему почти все тут спят или пытаются заснуть? Впоследствии я выяснил это. Законы сильных мира сего запрещают бездомным спать по ночам. На панели у входа в храм Христа, где величественные ряды колонн гордо возносятся к небу, лежало вповалку много людей. Одни спали, другие дремали, но все были охвачены такой апатией, что никто даже не поднял головы, когда мы проходили.

— Легкие Лондона! — сказал я. — Какие же это легкие? Это нарыв, гнойник!

— Зачем вы привели меня сюда? — воскликнул пылкий юноша-социалист. Боль — физическая и душевная — исказила его побледневшее лицо.

— Вот эти женщины там, — сказал наш провожатый, — готовы продать себя за три, даже за два пенса, а то и за ломоть черствого хлеба.

Он произнес это с каким-то добродушным пренебрежением.

Не знаю, что еще прибавил бы он к своим словам, но тут юноша, бледный, как полотно, взмолился:

— Ради Бога, уйдемте отсюда!

Глава VII. Кавалер ордена Виктории

В городе люди стонут, и душа
убиваемых вопиет.

Иов

Я узнал, что попасть в «палату разового ночлега» в работном доме весьма нелегко. Я уже дважды неудачно пытался проникнуть туда и намерен вскоре попробовать снова. В первый раз я отправился в семь часов вечера с четырьмя шиллингами в кармане, совершив, таким образом, сразу две ошибки. Во-первых, туда пускают только самых обездоленных, для выяснения чего каждый подвергается тщательному обыску: докажи, мол, что ты действительно гол как сокол; обладатель даже четырех пенсов — не говоря уж о четырех шиллингах! — решительно отвергается. Второй моей ошибкой было то, что я пришел слишком поздно. В семь часов вечера нищий уже не может рассчитывать на получение нищенской постели.

Для пользы людей, изнеженных воспитанием и далеких от правды жизни, я готов объяснить значение термина «палата разового ночлега». Это учреждение, попав в которое, в случае удачи, бездомный человек, не имеющий ни кола ни двора, может дать временный отдых своим усталым костям. За это он обязан проработать там, как вол, весь следующий день.

Вторая моя попытка проникнуть в «палату разового ночлега» началась при более благоприятных обстоятельствах. Я вышел из дому в середине дня в сопровождении того же молодого социалиста и еще одного приятеля, имея при себе всего лишь три пенса. Друзья проводили меня до Уайтчепелского работного дома, и я стал из-за угла наблюдать за происходящим. Было только начало шестого, но перед зданием уже выстроилась длинная, наводящая уныние очередь, которая заворачивала за угол и терялась где-то вдали.

Тяжелое это зрелище — мужчины и женщины, ожидающие в холодных сумерках нищенского ночлега. И, сказать по правде, оно поколебало мою решимость. Как ребенок у дверей зубного врача, я внезапно нашел множество причин, чтобы быть сейчас не здесь, а в другом месте. Очевидно, душевная борьба как-то отразилась у меня на лице, ибо один из моих спутников сказал:

— Не робейте, справитесь!

«Конечно, справлюсь», — подумал я. Но мне уже становилось ясно, что и три пенса — огромный капитал в глазах собравшихся здесь людей, и, чтобы не вызвать у них неприязни, я вытряс свои медяки из карманов. Сердце мое громко стучало, когда я, простившись с друзьями, прошел, втянув голову в плечи, вдоль всей очереди и занял место в самом конце. Да, невесело выглядели эти бедняки, кое-как цеплявшиеся за жизнь на крутом спуске к смерти. Я даже не представлял себе, сколь скорбным может быть такое зрелище.

Рядом со мной стоял невысокий коренастый человек, крепкий на вид, несмотря на преклонный возраст. Его резко очерченное лицо с грубой, словно дубленой кожей, испытавшей и зной и непогоду, и выцветшие глаза явно выдавали в нем моряка, и мне сразу же вспомнились строки из «Раба на галере» Киплинга:

Бич хлестал мне спину часто — и рубцы теперь болят;
Солнце, в море отражаясь, притупило зоркий взгляд,
На плече клеймо мне выжгли, цепь натерла ноги мне —
Труд мой был сполна оплачен.

Насколько правильным оказалось мое предположение и как удивительно подходили к этому случаю киплинговские строки, вы сейчас узнаете.

— Не могу больше выносить этого, — жаловался старик своему соседу по другую руку. — Выберу окно побольше и трахну камнем — пускай посадят недели на две. Тогда уж, будьте уверены, получу и место для спанья и жратву получше, чем в ночлежке. Вот только без курева плоховато, — добавил он с грустной покорностью.

— Последние две ночи провел на улице, — снова заговорил он, — позавчера вымок до костей. Сил нет больше терпеть. Да, одряхлел я; когда-нибудь утром найдут меня на мостовой мертвым.

Вдруг он с жаром обрушился на меня:

— Смотри, малый, не вздумай дожить до старости! Умирать надо, пока молод, не то докатишься до такого же конца. Верно тебе говорю. Мне вот восемьдесят семь лет, и я честно послужил моей родине: имел три нашивки за отличную службу и орден Виктории. А что толку? Хоть бы уж помереть скорей! Чем скорей, тем лучше.

Глаза его заволокло влагой, но не успел сосед пробормотать что-то ободряющее, как старик уже мурлыкал развеселую матросскую песенку, словно нет и не бывало на свете никаких печалей.

Вот что, видя мой интерес, рассказал мне этот человек, который провел две последние ночи на улице и сейчас стоял в очереди в ночлежку.

Еще совсем мальчишкой он поступил на службу в британский флот и прослужил там верой и правдой более сорока лет. Фамилии командиров, названия портов и кораблей, даты стычек и боев так и сыпались из его уст, но запомнить все это я был не в состоянии, а делать записи у входа в ночлежку едва ли удобно. Старик участвовал в «первой войне в Китае», как он ее называл; потом завербовался на службу в Ост-индскую компанию и пробыл десять лет в Индии; позднее снова попал в Индию с британским флотом, во время восстания сипаев; участвовал в бирманской и крымской войнах да сверх того воевал и трудился во славу английского флага в разных других частях земного шара.

И вдруг стряслась беда. Пустячное дело — если разобраться в причинах: то ли лейтенант страдал несварением желудка, то ли слишком поздно кутил накануне ночью, то ли его донимали кредиторы, то ли он получил нагоняй от командира, — но, как бы там ни было, лейтенант в тот день вышел на дежурство в раздраженном состоянии. Мой новый знакомый вместе с другими матросами в это время обтягивал фокаванты.

Напоминаю вам, что этот человек служил во флоте более сорока лет, удостоился трех нашивок за отличную службу и ордена Виктории за боевую отвагу, — значит, надо думать, считался неплохим матросом. Но лейтенант был в дурном расположении духа и ругнулся… ну, не особенно красивым словом, — в общем, проехался по адресу его матери. Когда я был ребенком, каждый мальчишка считал себя обязанным драться, как черт, если кто-нибудь таким словом оскорблял его мать, и в тех местах, откуда я родом, немало людей поплатились жизнью за то, что осмелились бросить кому-то подобное оскорбление.

Однако лейтенант оскорбил матроса именно так. У матроса оказался в руках железный лом, он стукнул им лейтенанта по голове, и тот полетел за борт.

А потом… передаю точно словами старика:

— Я увидел, что натворил. Устав я знал и сказал себе: «Крышка тебе, Джек, дружище, — так не лучше ли уж…», и прыгнул в воду следом за ним. Решил: утоплю его и сам утону. Так бы я и сделал, да тут подоспела шлюпка с флагманского судна. Ну, вытащили нас, а я как вцепился в него, так все и колочу. Это и решило мою судьбу. Если бы я не бил его, так мог бы еще оправдаться: понял, мол, свою вину и прыгнул в воду спасти лейтенанта.

Его судили военно-полевым судом, или как там это называется у них во флоте. Старик повторил мне наизусть текст приговора, слово в слово, — видимо, хорошо запомнил его и не раз твердил в горькие минуты. Для поддержания дисциплины и почтения к офицерам, не всегда проявляющим себя джентльменами, человека, виновного только в том, что он вел себя, как мужчина, приговорили: разжаловать в рядовые матросы, лишить всех причитающихся премиальных и права на пенсию, отобрать орден Виктории, уволить из флота с хорошей аттестацией (ибо это был его первый проступок), наказать пятьюдесятью плетьми и посадить на два года в тюрьму.

— Лучше бы мне утонуть в тот день! Вот как перед Богом — жалею, что не утонул! — заключил он свой рассказ.

Очередь тем временем стала подвигаться, и мы обогнули угол.

Наконец, показалась впереди входная дверь, — через нее впускают группами по нескольку человек. И тут я узнал нечто неожиданное: сегодня среда, а тех, кто сейчас сюда войдет, не выпустят до пятницы. И еще — курильщики, внимание! — табак вносить запрещается. Если у кого есть при себе табак, нужно его сдать. Мне сказали, что при выходе табак иногда отдают обратно, а иногда уничтожают.

Старый матрос показал мне, как нужно действовать. Развязав свой кисет, он высыпал его содержимое — жалкую горстку табаку — на бумажку, а бумажку туго свернул и сунул поглубже в носок. Я последовал его примеру, ибо прожить сорок часов без курева трудновато, — какой курильщик этого не знает?

Очередь понемножку двигалась, и мы медленно, но верно приближались к двери. Когда мы ступили на решетку над подвальным этажом, там мелькнула чья-то голова, и старик матрос крикнул, наклонившись к решетке:

— Сколько еще мест?

— Двадцать четыре, — услышали мы ответ.

Мы стали с тревогой пересчитывать стоящих впереди. Их оказалось тридцать четыре человека. Я увидел горестное разочарование и испуг на лицах тех, кто был возле меня. Не очень-то приятно провести ночь на улице на голодный желудок и без гроша в кармане. Но мы все еще надеялись — хоть надеяться было явно не на что, — пока впереди не осталось десять человек и служитель не погнал нас прочь.

— Всё, — сказал он и захлопнул дверь.

С быстротой молнии, несмотря на свои восемьдесят семь лет, старый матрос бросился бежать,

рассчитывая все же найти где-нибудь приют на ночь. Я остался с двумя другими бездомными, имевшими опыт в подыскании разового ночлега. Они решили попытать счастья в работном доме Поплер, за три мили отсюда, и мы направились в ту сторону.

Когда мы свернули за угол, один из моих спутников сказал:

— Я-то должен был попасть сегодня: я пришел к часу дня, очередь еще только устанавливалась. Но здесь есть свои любимчики, вот в чем дело. Только они одни и попадают, — каждую ночь те же самые.

Глава VIII. Возчик и плотник

Не боязнь смерти, даже не боязнь
голодной смерти делает человека
несчастным. Мало ли людей умирало.
Всем нам суждено умереть! Несчастным
делает человека то, что он вынужден,
сам не зная почему, вести нищенскую
жизнь и трудиться в поте лица, не
получая за это никаких благ; и то,
что он устал, измучен, одинок,
оторван от других людей и окружен
всеобщим laissez-faire[15].

Карлейль[16]

Этого возчика, с его резко очерченным профилем и клинообразной бородкой на безусом лице, я мог бы принять в Соединенных Штатах за кого угодно — от квалифицированного рабочего до зажиточного фермера. Что же касается плотника, то его я так и принял бы за плотника. Сама его внешность говорила о его профессии: тощая, жилистая фигура, острый, проницательный взгляд, руки, скрюченные от пользования плотничьим инструментом в течение ни много, ни мало сорока семи лет. Несчастье этих людей заключалось в том, что они состарились, а дети, которые могли бы служить им опорой под старость, умерли. Годы дали себя знать, и старики оказались выброшенными за борт, — соперники помоложе и посильнее захватили их места.

Этим старикам, как и мне, было отказано в ночлеге в работном доме Уайтчепел, и мы теперь шагали вместе по направлению к работному дому Поплер.

— Паршивое место, — говорили они, — да ничего другого не остается.

Либо Поплер, либо еще одна ночь на улице. Оба мечтали о койке, — по их словам, они уже валились с ног. Возчик, которому было пятьдесят восемь лет, провел три последние ночи на улице, а шестидесятипятилетний плотник уже пятые сутки не ночевал под крышей.

О вы, благородные господа, изнеженные, упитанные и полнокровные! Вы, кого ждут по вечерам просторные спальни с белоснежными постелями. Как заставить вас понять, что это значит — провести ночь на улицах Лондона? Воображаю, как бы вы страдали! Вам бы, поверьте, показалось, что протекли столетия, прежде чем на востоке забрезжил рассвет! Мучительная дрожь пробирает вас до костей, вам хочется выть от ноющей боли во всем теле, и вы сами диву даетесь, откуда берутся еще силы терпеть все это. Вот вы присели на скамейку, смежив усталые веки, но тут же, не сомневайтесь, вас разбудит грубый окрик полисмена: «Катись отсюда!» Присесть отдохнуть на скамейку вам еще можно (кстати, скамеек мало и

расставлены они редко), но не воображайте, что отдохнуть — это значит поспать. Только попробуйте задремать — вас тотчас прогонят, и снова придется вам тащить усталые ноги по бесконечным улицам. И если вы в отчаянии пуститесь на хитрость и приляжете где-нибудь в глухом закоулке или в темной подворотне, вас и там достанет око вездесущего полисмена. Гнать вас — его обязанность. Гнать вас отовсюду — закон властей предержащих.

Но с рассветом кошмар окончится. Вернувшись домой, вы отдохнете и до конца дней своих будете рассказывать завороженным слушателям об этом удивительном приключении. Со временем это выльется в обширное повествование. Описание короткой восьмичасовой ночи превратится в Одиссею, а сами вы — в Гомера.

Но не так обстояло дело с бездомными, которые спешили со мной в работный дом Поплер. А таких, как они, — мужчин и женщин — наберется сегодня в Лондоне тысяч тридцать пять. Пожалуйста, не думайте об этом, когда будете ложиться спать: если вы, как полагается, наделены чувствительной душой, это может нарушить ваш привычный покой. Но каково старикам шестидесяти, семидесяти и даже восьмидесяти лет, истощенным, малокровным, встречать рассвет, не отдохнув, и затем бродить весь день с одною мыслью о корке хлеба, зная, что впереди новая страшная ночь, — и так пять суток подряд! О вы, благородные господа, изнеженные, упитанные и полнокровные! Разве вы в состоянии понять это?!

Я шел между возчиком и плотником по Майл-Энд-роуд, широкой магистрали, пересекающей самый центр Восточного Лондона, где всегда толпы людей. Подчеркиваю это, чтобы вы лучше поняли значение того, что я собираюсь рассказать. Итак, мы шагали втроем по Майл-Энд-роуд, и моих спутников душил гнев; они громко бранили свою родину, а я вторил им, выдавая себя за бродягу американца, застрявшего случайно в этой чужой, ужасной стране. Мои старания увенчались успехом: они поверили, что я матрос, прокутился дочиста, прожил вещи (явление отнюдь не редкое среди матросов, сошедших на берег), сел, что называется, на мель и ищу работу на пароходе. Вот чем объяснялось мое незнание английских обычаев вообще и «разовых ночлегов» в частности, а также проявляемое мною к этому любопытство.

Возчик едва поспевал за нами, — он признался мне, что сегодня у него еще не было во рту ни крошки. Плотник же, тощий и голодный, в своем сером рваном пальто, полы которого скорбно развевались на ветру, шел ровным крупным шагом и чем-то сильно напоминал волка или койота, рыскающего по прериям. Разговаривая, оба они глядели себе под ноги, и время от времени то один, то другой нагибался, не замедляя, однако, шага, и поднимал что-нибудь с земли. Я решил, что они собирают сигарные и папиросные окурки, и сначала не обратил на это особого внимания. Но потом я присмотрелся и был потрясен:

С заплеванного, грязного тротуара они подбирали апельсинные корки, яблочные очистки, объеденные виноградные веточки и с жадностью отправляли в рот; сливовые косточки они разгрызали и съедали ядрышки. Они поднимали хлебные крошки величиной с горошину и яблочные сердцевины, настолько черные и грязные, что трудно было определить, что это такое. Эти отбросы они клали в рот, жевали и глотали. И все это происходило между шестью и семью часами вечера 20 августа, в году 1902 — м от рождества христова, в сердце самой великой, самой богатой, самой могущественной империи, какая когда-либо существовала на свете.

Возчик и плотник вели между собой разговор. Эти люди были отнюдь не дураки, только, к сожалению, стары. И ничего нет удивительного, если после всей съеденной дряни, с которой их воротило, они говорили о кровавой революции. Они говорили как анархисты, как фанатики, как сумасшедшие. Кто их за это осудит? Я сам хоть и успел уже за этот день три раза плотно поесть и знал, что меня ждет теплая постель, хоть я и имел свою социальную философию и

верил в эволюцию, в постепенное изменение и переход от одного состояния к другому, — повторяю: я сам, несмотря на все это, чувствовал потребность молоть такой же вздор или же молчать, прикусив язык. Жалкие глупцы! Не таким, как они, делать революции! Но когда они умрут и превратятся в прах, — что наступит весьма скоро, — другие глупцы будут говорить о кровавой революции, подбирая отбросы с заплеванных тротуаров Майл-Энд-роуд по пути к работному дому Поплер.

Видя, что я иностранец и человек молодой, возчик и плотник старались объяснить общее положение вещей и вразумить меня. Впрочем, их вразумления были кратки и сводились к одному: поскорее выбраться из этой страны.

— Господи, пусть только колесо фортуны повернется, дам тягача, и след мой простынет! — заверил я их.

Они не столько поняли, сколько почувствовали силу моих метафор и одобрительно закивали.

— Делают человека преступником против его воли, — сказал плотник. — Вот я, например, состарился; молодежь заняла мое место. Одежонка на мне ветшает, поэтому получить работу с каждым днем все труднее. Сплю в ночлежке, и то если повезет. Должен прийти туда в два, самое позднее в три часа, — иначе не попасть. Видал, что сегодня творилось? Когда же мне искать работу? Положим, я устроюсь сегодня на ночлег. Меня продержат там завтра весь день, выпустят в пятницу утром. А дальше что? По правилам, меня на следующую ночь уже не впустят ни в одну ночлежку, ближе чем за десять миль от той, где я ночевал. Выходит, я должен сразу же бежать за десять миль, чтобы поспеть вовремя. Так когда же, спрашивается, искать работу? Хорошо, скажем, я не пошел в очередь за койкой, — бросился искать работу. Не успеешь оглянуться — уже ночь, а спать негде. А не спавши, голодный, куда я гожусь наутро? Какая тут работа? Значит, надо пойти поспать хотя бы в парке (при этих словах плотника я представил себе храм Христа в Спайтелфилдзе) и хоть что-нибудь поесть. Вот оно как! Старый я, песенка моя спета, и нет у меня больше надежды снова стать на ноги.

— Прежде тут стоял шлагбаум, — заметил возчик. — С меня не раз драли здесь за проезд, когда я был ломовым.

Последовала долгая пауза.

— За два дня я только и съел, что три полпенсовых хлебца, — произнес плотник. — Два вчера, а третий нынче, — добавил он, помолчав.

— А у меня сегодня еще маковой росинки во рту не было, — отозвался возчик. — Сил уж нет дальше тащиться. Страсть как ноги болят!

— Хлеб, который тебе дают «на колу», — такая черствятина, что нужно не меньше двух кружек воды, чтобы его разжевать, — сообщил плотник к моему сведению.

Я спросил его, как понимать это «на колу», и он ответил:

— А это значит — в ночлежке. Такое жаргонное выражение.

Меня удивило, что в его лексикон входит слово «жаргонное». Однако из дальнейшего разговора я выяснил, что язык его довольно богат.

Я спросил своих спутников, какие там порядки в работном доме Поплер, и они дружно постарались просветить меня на этот счет. Первым делом заставят принять холодную ванну, на

ужин дадут шесть унций[17] хлеба и миску похлебки. Похлебка — это жидкая бурда, приготовленная так: три кварты овсянки на три с половиной ведра горячей воды.

— С молоком и сахаром, небось, да еще дадут серебряную ложку, — пошутил я.

— Как же! Соль — это еще, пожалуй, дадут! А я бывал в таких местах, где даже ложек нет. Поднимай миску да лей себе прямо в рот, вот как!

— А вот в Хакни похлебка ничего, — сказал возчик.

— Куда! Просто замечательная похлебка! — подхватил плотник, и оба выразительно переглянулись.

— А в Восточном Сент-Джордже — мука и вода, — заметил возчик.

Плотник кивнул головой. Он уже везде побывал.

— Ну, а дальше что? — спросил я.

А дальше, мне объяснили, сразу пошлют спать.

— В половине шестого утра разбудят; встанешь, вымоешься под краном, иной раз даже с мылом. Потом завтрак — такой же, как ужин: миска похлебки и шесть унций хлеба.

— Нет, шесть унций не всегда, — поправил возчик.

— Верно, не всегда. И хлеб бывает до того кислый, что скулы сводит. Когда я только начинал скитаться по этим местам, так просто не мог есть ни хлеба этого, ни похлебки. Ну, а теперь куда там — съедаю не только свою порцию, но и чужую могу прихватить!

— Да я бы и три порции съел, — сказал возчик. — За весь Божий день маковой росинки во рту не было.

— Ну, а потом что? — допытывался я.

— Как что? Пошлют работать; на уборку или трепать пеньку, норма — четыре фунта в день, или бить камень — центнеров десять-одиннадцать. Меня не заставляют бить камень, мне больше шестидесяти лет. А тебя заставят: ты молодой и крепкий.

— Чего я не люблю, — проворчал возчик, — так это когда запирают в камере и велят трепать пеньку. Точно в тюрьме.

— А что, если переночевать, а потом отказаться трепать пеньку, бить камень — вообще работать? — поинтересовался я.

— Второй раз уж не откажешься, — ответил плотник, — они тебя упекут в тюрьму. Не советую пробовать. Ну, а потом обед, — продолжал он прерванный рассказ, — восемь унций хлеба, полторы унции сыра и холодная вода на запивку. Потом идешь кончать работу, а вечером получишь еще ужин, такой же, как накануне, — порцию бурды и шесть унций хлеба. В шесть часов погонят спать. А наутро иди на все четыре стороны — если, конечно, вчера все отработал.

Мы давно оставили позади Майл-Энд-роуд и, поколесив по мрачному лабиринту узких извилистых уличек, подошли к работному дому Поплер. На камнях невысокой ограды мы

разостлали наши носовые платки и завязали в них свои земные богатства — все, за исключением табака, который запрятали в башмаки. Грязно-серое небо еще больше почернело, подул холодный злой ветер; сжимая в руках наши нищенские узелки, мы робко ступили на крыльцо работного дома.

Мимо прошли три молоденькие работницы, и одна из них сочувственно посмотрела на меня. Я проводил ее глазами, а она оглянулась и снова бросила на меня жалостливый взгляд. Стариков она даже не заметила. Боже праведный! Она жалела меня — молодого, здорового, сильного, а не двух стариков, стоявших рядом со мной! Она была молодая женщина, я молодой парень, и чувство жалости ко мне имело, по-видимому, подоплеку эротического свойства. Жалость к старикам — чувство альтруистическое; кроме того, порог работного дома — привычное место для стариков, поэтому она пожалела не их, а меня, куда меньше заслуживавшего жалости, даже вовсе ее не заслуживавшего. Да, без почета сходят старики в могилу в городе Лондоне!

По одну сторону двери болталась ручка звонка, по другую была электрическая кнопка.

— Потяни за ручку, — сказал мне возчик.

Я дернул решительно, как звоню всегда у всех дверей.

— Ой! Ой! — в один голос закричали старики, перепуганные до крайности. — Не так сильно!

Я опустил руку. В их глазах я прочел немой укор: ведь своим поведением я мог помешать им получить койку и миску похлебки. Но на звонок никто не шел — надо было, видимо, звонить в другой, — и я почувствовал некоторое облегчение.

— Нажмите кнопку, — посоветовал я плотнику.

— Нет, нет, подождем немножко, — вмешался возчик.

Из всего этого я заключил, что привратник работного дома, получающий шесть — восемь фунтов в год, — весьма капризная и важная персона и требует исключительно деликатного обращения… со стороны бедняков.

И вот мы ждали — раз в десять дольше, чем следовало бы. Наконец дрожащим указательным пальцем возчик робко, едва-едва тронул кнопку. Мне приходилось видеть людей, ожидающих решения, от которого зависела их жизнь, но даже лица тех выражали меньше тревоги, чем лица стариков, ожидавших привратника.

Он появился и еле удостоил нас взглядом.

— Мест нет, — сказал он и захлопнул дверь.

— Еще одна ночь на улице! — простонал плотник.

Я глянул на возчика. В густых сумерках его лицо казалось еще более изнуренным и серым.

«Благотворительность без разбору — преступление», — говорят филантропы. Ладно, пусть я буду преступником.

— Доставайте-ка свой нож и идите за мной, — приказал я возчику, увлекая его в темный тупик.

Он уставился на меня со страхом и стал пятиться назад. Должно быть, он принял меня за современного Джека-Потрошителя, специализирующегося по части нищих стариков, или

подумал, что я собираюсь втянуть его в какое-нибудь мокрое дело. Так или иначе — он был испуган.

Хочу напомнить, что, отправившись на Восточную сторону, я зашил на всякий случай в пройме фуфайки, купленной у старьевщика, золотой соверен. Теперь впервые возникла необходимость тронуть мой «неприкосновенный запас».

Только изогнувшись, словно акробат, и дав возчику пощупать монету, зашитую у меня под мышкой, сумел я добиться от него помощи. Но руки у него так дрожали, что я побоялся, как бы вместо шва он не вспорол мне бок. Пришлось взять у него нож и самому выполнить необходимую операцию. Но вот монета покатилась на тротуар. В глазах моих спутников это было целое состояние. Не теряя времени, я повел их в ближайшую кофейню.

Разумеется, мне пришлось объяснить старикам, что я исследователь социальных проблем и цель моя — узнать поближе, как живут неимущие. И сразу же они смолкли, ушли в себя, словно улитки. Я стал для них чужаком, и речь моя по-иному зазвучала у них в ушах, в голосе моем они услышали новые нотки, — словом, они признали во мне человека «высшего сословия», а они остро ощущали классовые различия.

— Что вы будете есть? — спросил я у стариков, когда к нашему столику подошел официант.

— Два ломтика и чашку чаю, — робко сказал возчик.

— Два ломтика и чашку чаю, — как эхо, повторил плотник.

Представьте себе все это на минутку. Я пригласил двух стариков в кофейню. Они видели мой золотой и поняли, что я не нищий. Один из них за весь день съел только полпенсовый хлебец, другой совсем ничего не брал в рот. И они заказали по два ломтика да по чашке чаю — всего-навсего на четыре пенса! Два ломтика, кстати, — это два ломтика хлеба, намазанных маслом.

В этом тоже сказалось их униженное сознание, как и по отношению к привратнику ночлежки. Но я, конечно, распорядился иначе: я велел подать яиц, жареного бекона и постепенно добавлял еще яиц и еще бекона, еще хлеба с маслом и так далее. Они не переставали отказываться, уверяя, что уже сыты, и жадно поглощали все, что приносил официант.

— Первая чашка чаю за две недели, — признался возчик.

— Замечательный чай! — сказал плотник.

Каждый из них выпил по четыре чашки. И, поверьте, это был не чай, это были помои, столь же похожие на чай, как дешевое немецкое пиво похоже на шампанское. Да нет, просто желтенькая водичка, не имевшая ничего общего с чаем.

Когда старики немного оправились от неожиданности, любопытно было наблюдать, какое действие оказывает на них пища. Вначале, настроившись на меланхолический лад, они стали рассказывать о том, как при различных обстоятельствах неоднократно покушались на самоубийство. Возчик признался, что с неделю назад он стоял на мосту и обдумывал, не броситься ли ему в воду.

— Ну, топиться — это не дело! — горячо возразил плотник; он был убежден, что непременно стал бы барахтаться и пытаться выплыть. — Пуля куда удобнее. Но только каким чудом раздобыть револьвер? Вот в чем загвоздка!

Согревшись горячим «чаем», они повеселели и кое-что рассказали о себе. Возчик рано схоронил жену и детей; в живых остался один сын, который вырос и стал помогать ему в извозном деле. Но грянула беда: тридцати одного года сын умер от оспы. Схоронив его, старик сам заболел горячкой и попал на три месяца в больницу. И тут все пошло прахом. Из больницы он вышел слабым, ни на что не годным. А сына, который мог бы крепкой рукой поддержать отца, уже не было на свете. Маленькое предприятие прогорело. Денег — ни гроша. Пришла беда — отворяй ворота. Где уж старику начинать все сызнова? Друзья — сами бедняки — помочь не могли. Старик сделал попытку получить работу на постройке трибун для первого коронационного парада.

— «Нет, нет, нет!» Везде только «нет!» — жаловался возчик. — Я едва с ума не сошел, слыша повсюду отказ. Это «нет» стояло у меня в ушах даже ночью, спать не давало. На прошлой неделе пошел в Хакни по объявлению, но, как только сказал, сколько мне лет, опять то же самое: «Нет, куда там, — слишком стар! Нет, нет!»

Плотник родился в семье военного. Отец его прослужил в армии двадцать два года. Два брата тоже были военными. Один, вахмистр 7 — го гусарского полка, погиб в Индии, после восстания сипаев. Второй, прослужив девять лет в армии Робертса на Востоке, пропал без вести в Египте. Сам плотник не пожелал идти в солдаты, а то, верно, и его уже не было бы в живых.

— Дайте-ка вашу руку, — сказал он, расстегивая свою рваную рубашку. — Смотрите, на мне можно анатомию изучать. Тощаю, сэр, изо дня в день, тощаю от голода. Пощупайте-ка мои ребра!

Я сунул руку ему под рубаху и пощупал. Сухая, как пергамент, кожа обтягивала кости, и мне показалось, что я провел рукой по стиральной доске.

— Было у меня в жизни семь счастливых лет, — продолжал плотник. — Имел хорошую хозяюшку и трех славных дочурок. И все умерли. Скарлатина скосила девочек в две недели.

— Сэр, — вмешался возчик, показывая на наш стол, уставленный едой, и желая перевести разговор на иную, более веселую тему, — боюсь, что после такого пира мне уж не полезет в горло завтрак в работном доме.

— И мне тоже, — подтвердил плотник. После этого они принялись обсуждать разные вкусные кушанья; каждый вспоминал, какие замечательные блюда готовила его жена в далеком прошлом.

— Но пришлось мне как-то пропоститься три дня, — заметил возчик.

— А мне — целых пять, — сказал плотник и сразу помрачнел от этого воспоминания. — Пять дней проходил вовсе с пустым желудком, если не считать апельсинных корок. Человеческая натура не может выдержать такого надругательства, сэр, и я чуть не умер. Бродишь ночью по улицам, и такое отчаяние вдруг нападет, — кажется, сделаешь что-нибудь страшное, была не была. Вы понимаете, сэр, о чем я говорю? На грабеж готов был пойти, вот… Но наступит утро, ослабеешь от холода и голода, и куда там — мышонка нет сил прихлопнуть.

Когда пища основательно разогрела им внутренности, мои старики стали говорливей и даже хвастливей и принялись рассуждать о политике. Могу сказать, кстати, что о последней они толковали не хуже любого обывателя и даже умнее многих, с кем мне приходилось беседовать. Я был немало удивлен, услыхав, как они говорят обо всем на свете, разбираются и в географии, и в истории, и в текущих событиях. Впрочем, я уже заметил раньше: они не дураки. Их беда в том, что они стары и что их дети не потрудились дожить до этих дней и дать им теплое

местечко у своего очага.

Последний штрих. На углу улицы я попрощался с моими стариками, повеселевшими оттого, что у каждого в кармане бренчало теперь по два шиллинга — постель на ночь была обеспечена. Закурив, я хотел было бросить на землю горящую спичку, но возчик выхватил ее у меня. Тогда я предложил ему весь коробок, но он сказал:

— Не беспокойтесь, сэр, к чему такой расход?

И, закурив папиросу, которой я его угостил, он передал огонек плотнику, торопившемуся набить свою трубку, чтобы использовать ту же спичку.

— Не дело зря добро растрачивать, — сказал плотник.

— Ваша правда, — согласился я, вспомнив, как провел рукой по его телу, похожему на стиральную доску.

Глава IX. «На колу»

Древние спартанцы действовали более мудро: когда илотов становилось слишком много, они устраивали на них облаву и убивали их, поражая копьями. Насколько же легче было бы проводить такие облавы при нашей усовершенствованной технике, когда изобретено огнестрельное оружие и существуют регулярные армии! Пожалуй, даже в самой густо населенной стране можно было бы за три дня перестрелять всех работоспособных нищих, накопившихся там за год, если проводить эти мероприятия ежегодно.

Карлейль

Прежде всего да простит мне тело мое, что я таскал его по таким гнусным местам, и желудок мой — за то, что пихал в него такую дрянь. Я был «на колу», и спал, и ел «на колу», и, признаюсь откровенно, сбежал оттуда.

После двух неудачных попыток проникнуть в «палату разового ночлега» Уайтчепела я отправился туда в третий раз, пораньше: не было еще трех часов, когда я занял очередь среди отверженных. В дом пускают с шести, но, даже придя так рано, я оказался двадцатым по счету. В очереди поговаривали, что впустят только двадцать два человека. К четырем часам нас было тридцать четыре, и эти лишние десять не собирались уходить, надеясь, видимо, на чудо. Прибывали еще и еще бедняки, но, посмотрев на очередь и с горечью убедившись, что для них не хватит места в ночлежке, спешили прочь.

Сперва разговор в очереди не клеился. Но вот два моих соседа — впереди и сзади — случайно обнаружили, что оба они в одно и то же время лежали в больнице, в оспенном бараке. Познакомиться там им помешало то обстоятельство, что в переполненной больнице, кроме них, находилось еще тысяча шестьсот больных; зато, встретившись здесь, они решили вознаградить себя за упущенную возможность и принялись обсуждать спокойно и деловито самые

тошнотворные подробности оспенного заболевания. Я узнал, что от этой болезни умирает примерно каждый шестой, что один из собеседников провел в бараке три месяца, а второй — три с половиной и что они там просто «гнили заживо». При этих словах у меня мурашки побежали по телу, и я спросил их, давно ли они выписались из больницы.

— Да уже две недели, — ответил первый.

— А я три недели как вышел, — сказал другой.

Лица у обоих были изрыты оспой, хотя они убеждали друг друга, что решительно ничего не заметно. Кроме того, на руках у них были еще свежие следы болезни. И вот один — для моего вразумления — сорвал головку с незажившей язвочки. Я втянул голову в плечи, молясь в душе, чтобы она не попала на меня.

Оспа сделала этих людей бродягами. Оба они работали, когда их свалила болезнь, и оба вышли из больницы без гроша и сразу столкнулись с тяжелой задачей — найти работу. До сих пор их поиски не увенчались успехом, и после трех суток, проведенных на улице, они заняли очередь у ночлежки, надеясь получить здесь хотя бы краткий отдых.

Не только старикам приходится расплачиваться за свою беду, но также и молодым, ставшим жертвой несчастного случая или болезни. Позднее в тот же день я разговорился с человеком, которого тут все звали Живчик и который стоял первым в очереди, — верное доказательство того, что он явился сюда в час дня. Примерно год назад, когда он служил на рыбном складе, ему пришлось поднять тяжеленный ящик с рыбой, — тут у него «что-то оборвалось внутри», и он вместе с ящиком грохнулся на землю.

В больнице, куда отвезли Живчика, сказали, что у него грыжа, вправили ее, дали немного вазелину — втирать в больное место и, продержав часа четыре, велели уходить. Не прошло, однако, и трех часов, как новый приступ свалил его на улице, и он был доставлен в другую больницу. Там беднягу кое-как подлатали. Примечательно, что хозяин рыбного склада ничего, ровным счетом ничего не сделал для пострадавшего рабочего и даже отказался хотя бы изредка давать ему какую-нибудь легкую работу. И вот теперь Живчик — конченый человек. Раньше он мог заработать себе на жизнь только тяжелым физическим трудом; теперь же, когда эта возможность утеряна, ночлежки, «обжорки» Армии спасения и лондонские тротуары — вот все, что для него осталось, и так уж будет до самой смерти. Случилась беда, что ж поделаешь! Попался слишком тяжелый ящик с рыбой — и прости-прощай надежда увидеть хоть немножко счастья в жизни!

Некоторые из стоявших в очереди побывали в Соединенных Штатах и теперь жалели, что не остались там, ругали себя. Англия стала для них тюрьмой, и у них уже не было надежды вырваться на волю. Уехать невозможно: никогда им не удастся собрать денег на дорогу, и никто не возьмет их на пароход — отработать стоимость проезда. В Англии и без них полно бедняков, ищущих такой возможности.

Я назвался моряком, промотавшим свои вещи и деньги, и все сочувствовали мне и давали множество полезных советов. Советы эти сводились в основном к следующему: держаться подальше от таких мест, как ночлежки, — ни к чему хорошему это не приведет; взять курс на побережье и поставить себе одну цель — наняться на пароход; поработать, если возможно, наскрести около фунта стерлингов и дать взятку какому-нибудь пароходному эконому или помощнику, чтоб тот устроил мне проезд на родину в обмен на мой труд. Эти люди завидовали моей молодости и здоровью, — им казалось, что благодаря этому я рано или поздно смогу выбраться из Англии. У них же все было позади. Старость и тяжелая жизнь на английской

земле сломили их, карта бита, игра проиграна.

Был среди ожидающих один человек, еще нестарый, который, я убежден, в конце концов выкарабкается. В молодости он уехал из Англии в Соединенные Штаты, прожил там четырнадцать лет и дольше двенадцати часов никогда не оставался без работы. Он накопил денег, ему показалось, что целый капитал, — и вернулся на родину. А теперь стоял в очереди, чтобы попасть в ночлежку.

Последние два года он служил поваром, и ему приходилось работать ежедневно с семи часов утра до половины одиннадцатого вечера, а по субботам — до половины первого ночи, — то есть девяносто пять часов в неделю, — за двадцать шиллингов, или пять долларов.

— Меня просто убивала эта работа, без отдыха столько часов подряд, — рассказывал он. — Пришлось уйти. Были кое-какие сбережения, но, пока я искал другое место, я все прожил.

В тот день он впервые пришел в ночлежку, чтобы немного отдохнуть. Как только его отсюда выпустят, он пойдет в Бристоль, отмахает сто десять миль пешком, — зато есть надежда устроиться там на пароход и уехать в Америку.

Но таких, как этот повар, в очереди нашлось бы немного. Тут были люди жалкие, забитые, огрубевшие, часто не умеющие связать двух слов, что, кстати, не мешало им оставаться во многих отношениях весьма человечными. Мне вспоминается, например, такая картинка: ломовой извозчик, возвращающийся домой после трудового дня, остановил неподалеку от нас свою телегу, чтобы подсадить сынишку, выбежавшего на улицу встретить папу; но телега была слишком высока, и малыш никак не мог на нее вскарабкаться. Тогда какой-то с виду совсем опустившийся человек вышел из нашей очереди и шагнул на мостовую; он поднял ребенка на руки и усадил в телегу. Этот поступок тронул меня своим полным бескорыстием. Извозчик был сам бедняк, и бездомный знал об этом; бездомный дожидался впуска в ночлежку, и извозчик знал об этом; но бездомный проявил чуткость и любезность, и извозчик поблагодарил его, как равный равного, как поблагодарил бы я вас, если бы вы оказали мне услугу.

Очень трогательно выглядела также одна пара: сборщик хмеля и его «старушка». Он занял очередь раньше, а она присоединилась к нему через полчаса. Для женщины в ее положении она имела, я бы сказал, приличный вид: седые волосы прикрывала шляпка (правда, довольно поношенная), в руках был холщовый узелок с вещами. Слушая, как жена что-то ему рассказывает, старик поймал выбившуюся у нее на ветру белоснежную прядь, двумя пальцами ловко скрутил и бережно засунул ей за ухо, под шляпку. Этот жест сказал мне о многом. О том, что он хочет, чтобы она выглядела опрятно и привлекательно. О том, что он гордится своей женой, дожидающейся очереди в ночлежку, и желает, чтобы она производила хорошее впечатление и на других несчастных, стоящих в этой очереди. И, самое главное, как основа всего, что он к ней крепко привязан, ибо иначе ему было бы все равно, — опрятно или неопрятно она выглядит, и он едва ли стал бы так гордиться ею.

Я не мог взять в толк, почему эта супружеская пара, привычная, как я понял из их разговора, к упорному труду, вынуждена искать случайного нищенского ночлега. У него было чувство собственного достоинства и чувство гордости за свою жену. Когда я спросил, сколько, по его мнению, я, новичок в этом деле, мог бы заработать на уборке хмеля, он оценивающе оглядел меня и ответил несколько туманно. Многие не годятся для такой работы, потому что не могут быстро собирать хмель. Чтобы научиться этому, нужно иметь хорошую голову и проворные пальцы, необыкновенно проворные пальцы. Вот они с женой очень ловко это делают: у них всегда общий ларь, и они не спят за работой. Но, конечно, это уже от многолетней привычки.

— Один мой товарищ поехал туда в прошлом году, — вмешался кто-то из стоявших рядом, — поехал первый раз в жизни, а привез назад целых два фунта десять шиллингов, только за месяц.

— Вот, вот! — подтвердил старик с форменным восхищением. — Значит, у него проворные руки. Значит, у него к этому делу природная сноровка, да!

Два фунта десять шиллингов — двенадцать с половиной долларов — за месяц работы, да еще если у тебя к ней «природная сноровка»! И притом спать под открытым небом, без одеял, и жить Бог знает как! Порой я благодарен судьбе, что не имею природной сноровки ни к чему, даже к сбору хмеля.

По части экипировки для работы на хмельнике этот человек дал мне много ценных советов, которые прошу всех изнеженных, благородных господ учесть, на случай если им придется сесть на мель в городе Лондоне.

— Надо иметь кастрюльки или жестянки, не то поневоле будешь жрать один хлеб с сыром, — говорил старик. — А это — самое паршивое дело. Нужно и чайку горячего попить и поесть чего-нибудь овощного, да хоть изредка перехватить кусочек мяса, если хочешь работать по-настоящему. Всухомятку много не наработаешь. Я тебя, парень, научу, что делать. Походи утром и поройся на помойках. Найдешь сколько угодно жестянок. Иной раз замечательные попадаются. Мы с женой свои там же подобрали, — он ткнул пальцем на узелок у нее в руках, и она подтвердила его слова горделивым кивком; лицо ее сияло добротой и уверенностью в успехе и богатстве. — И вот это пальто — теплое, как одеяло, — он поднял полу, чтобы я мог пощупать толщину материи. — А может, скоро я и одеяло найду.

Жена снова закивала и заулыбалась, — она была совершенно убеждена, что, конечно, он скоро найдет и одеяло.

— Для меня собирать хмель все равно что праздник, — восторженно продолжал ее муж. — Хороший способ выколотить два-три фунта и обеспечить себя на зиму. Вот только плохо, что ходить далеко, — устаешь копыта бить.

«Ничего себе — только!» — подумал я. Ясно было, что возраст давал себя знать и «бить копыта», то есть передвигаться по способу пешего хождения, этим энергичным людям, любящим работу и гордящимся проворством своих пальцев, становилось все труднее. Я глядел на их седые головы и думал: что же будет с ними лет через десять?

Мое внимание привлекла еще одна чета. Обоим было за пятьдесят. Жену, снисходя к ее полу, пустили на ночлег, а мужа — нет, он опоздал; и вот, разлученный со своей подругой, он ушел, чтобы бродить всю ночь по городу.

Ширина улицы, на которой мы стояли, едва ли достигала двадцати футов, ширина тротуаров не превышала трех. Улица была застроена жилыми домами. Во всяком случае, на противоположной стороне ютился — худо ли, хорошо ли — рабочий люд. И каждый день от часу до шести напротив их окон выстраивались оборванцы, чающие попасть в ночлежку. Как раз напротив нас сидел на крылечке дома какой-то рабочий — вышел, видно, подышать воздухом после трудового дня. Его жене захотелось поболтать с ним, но так как крылечко было слишком узкое, ей приходилось стоять. Тут же возились их ребятишки. А меньше чем в двадцати шагах от них теснилась очередь в ночлежку; и жизнь рабочих и жизнь бродяг была на виду. Под ногами у нас вертелись дети из соседних домов. Их не удивляло наше присутствие, — они к этому привыкли, как привыкли к кирпичным стенам домов и каменной мостовой. День за

днем с самого рождения они наблюдали это зрелище.

В шесть часов очередь стала продвигаться; людей впускали по трое. Фамилия, возраст, род занятий, место рождения, степень нуждаемости, где провел предыдущую ночь — все это смотритель записывал с быстротою молнии. Когда я повернулся, чтобы идти, меня напугал какой-то человек, сунув мне в руку предмет, напоминавший на ощупь кусок кирпича, и выкрикнув над самым моим ухом:

— Нож, спички, табак есть?

— Нет, сэр, — солгал я по примеру остальных.

Спускаясь в подвал, я разглядел предмет, который держал в руке. Только совершая насилие над языком, этот кусок можно было назвать хлебом. Твердый и тяжелый, он, несомненно, был выпечен без дрожжей.

Подвал был тускло освещен. Не успел я освоиться с этим полумраком, как кто-то сунул мне в другую руку жестяную миску. Спотыкаясь, я перешел в следующее помещение, еще более темное, где за столами сидели на скамейках люди. Пахло здесь отвратительно. Зловещий мрак, смрад и приглушенные голоса, долетавшие откуда-то из темноты, делали это место похожим на преддверие ада.

У многих были натерты ноги, и, прежде чем приняться за еду, они стаскивали с себя башмаки и разматывали грязные портянки. Это усиливало зловоние и окончательно убило мой аппетит.

Тут я понял, что совершил ошибку. Я плотно пообедал пять часов назад, а чтобы оценить здешнее меню, следовало поголодать денечка два. В моей миске плескалась похлебка: горячая вода с кукурузными зернами. Люди макали куски хлеба в соль, насыпанную кучками на грязных столах. Я последовал их примеру, но хлеб застрял у меня в горле, и я вспомнил слова плотника: «Нужно не меньше двух кружек воды, чтобы его разжевать».

Я направился в темный угол, куда, как я заметил, подходили другие, и нашел там воду. Затем вернулся к столу, чтобы разделаться с похлебкой. Кукуруза была полусырая, плохо посоленная и горькая; она оставляла противный вкус во рту. Я мужественно съел пять-шесть ложек, но приступ тошноты заставил меня сдаться. Сосед, успевший проглотить свою порцию, докончил и мою. Он выскреб обе миски и стал метать голодные взгляды по сторонам — не осталось ли где-нибудь еще.

— Я встретил сегодня земляка, и он угостил меня сытным обедом, — объяснил я ему.

— А я, — отозвался он, — со вчерашнего утра в рот не брал ни крошки.

— Табачку? — предложил я. — Только как бы этот дубина не придрался.

— Нет, — отвечал он, — ни черта не бойся. Эта ночлежка самая хорошая. Вот побывал бы ты в других! Уж там когда обыскивают, так всего обшарят!

Когда все миски были выскоблены дочиста, беседа оживилась.

— Здешний смотритель вечно пишет про нас, подлецов, в газетах, — сказал один из моих соседей по столу.

— Что же он пишет? — полюбопытствовал я.

— Да вот, что все мы никудышные люди, мерзавцы и негодяи и не хотим работать. Расписывает разные допотопные истории, про которые я уже лет двадцать слышу, да что-то сам никогда такого не видывал. Последний раз он написал в газете про одного парня, который прихватил в кармане из ночлежки корку хлеба, увидал какого-то важного пожилого господина и кинул свою корку в решетку канализации, потом подошел к этому старику и попросил одолжить ему палку, чтобы выудить хлеб. Ну, старик и подал ему медяк.

Этот избитый анекдот был встречен шумным одобрением слушателей. Затем из мрака донесся чей-то сердитый голос:

— Болтают, будто в других городах со жратвой лучше. Хотел бы я это повидать. Был я вот недавно в Дувре, — ни черта там нет, никакой жратвы. Глотка воды тебе не дадут, не то что пожрать!

— А вот в Кенте есть такие, что живут все время на месте и никуда не едут, — послышался другой голос. — Ну и морды же себе раскормили — страх!

— Я проходил через Кент, — еще злее отозвался первый, — и никакой там я жратвы не видел, чтоб мне пропасть! Я уж давно приметил: все эти типы только вечно хвалятся, будто им везде дают, а как дорвутся до ночлежки, так живо слопают всю похлебку, да и твою норовят прихватить.

— Есть и в Лондоне такие, — сказал человек, сидевший напротив меня, — для которых во всякое время сколько угодно жратвы; этим тоже никуда не нужно ехать. Живут себе и живут в Лондоне круглый год, даже о ночлежке не беспокоятся — заявляются сюда в девять, а то и в десять часов вечера.

Все хором подтвердили правоту его слов.

— Хитрые, черти! — раздался чей-то восхищенный голос.

— Еще бы! — отозвался кто-то. — Мы с тобой так не умеем. Такими родиться надо. Небось, с пеленок открывали господам дверцы экипажей да торговали газетами. И мать с отцом тем же занимались и их приучили, а мы с тобой подохли бы с голода на такой работе.

Это было тоже подтверждено дружным хором, равно как и заявление, что есть такие типы, которые круглый год преспокойно живут в ночлежке, всегда обеспечены куском хлеба и похлебкой, и никакой голод им не страшен.

— А я раз получил полкроны в страдфордской ночлежке, — сказал какой-то бедняк, до сих пор молчавший; мгновенно воцарилась тишина, и все, как зачарованные, внимали чудесному рассказу. — Нас послали втроем дробить камень. Дело было зимой, холод зверский. Те двое, что со мной пришли, говорят: «Ну ее к черту, эту работу!» — и не стали работать. А я все грохаю да грохаю, чтобы согреться. Вдруг откуда ни возьмись комиссия! Этих двух упекли на четырнадцать суток, а мне за мой труд каждый из комиссии дал по шесть пенсов, — а их там было пятеро. И тут же меня отпустили.

Большинство этих людей, вернее сказать — все, не любят ночлежек, но их гонит туда необходимость. После ночи отдыха «на колу» они в состоянии провести двое-трое суток на улице, пока нужда снова не загонит их в ночлежку. Разумеется, такая жизнь быстро подтачивает их организм, и они это понимают, хотя и смутно; но уже настолько свыклись, что перестали тревожиться.

Среди бродяг существует мнение, что самая сложная проблема — найти угол для спанья, что это даже труднее, чем прокормиться. Объясняется такое положение главным образом плохим климатом и суровыми полицейскими правилами, но послушать этих людей, так во всем виноваты иммигранты, особенно польские и русские евреи, которые захватывают их места, работая за более низкую плату и тем поддерживая систему потогонного труда.

Около семи часов нас погнали мыться и спать. Каждый разделся догола, завернул одежду в пиджак и перевязал сверток поясом. Все свертки мы свалили на переполненную вещами полку и просто на пол, — отличный метод распространения насекомых, — затем парами прошли в обмывочную. Там стояли две большие лохани, и я сам видел, как двое до нас мылись в воде, в которую сели мы, а затем двое, пришедших вслед за нами, окунулись в ту же самую воду. Это я видел собственными глазами, но, помимо того, готов поручиться, что в одной и той же воде мылись все двадцать два человека.

Я только сделал вид, будто ополаскиваюсь этой грязной водицей, и поспешно вытерся совершенно мокрым полотенцем, которым до меня пользовались другие. На душе у меня не стало легче, когда я увидел спину одного бедняка, всю в укусах насекомых и расцарапанную в кровь.

Мне выдали рубаху — трудно было определить, сколько человек облачалось в нее до меня, — и два одеяльца. Сунув их под мышку, я поплелся в «спальное отделение». Это была длинная, узкая комната, вдоль которой тянулись в два ряда невысокие железные перила. На них висели гамаки, даже не гамаки, а просто узкие куски парусины. Пространство между «постелями» было едва ли шире ладони, и примерно такое же расстояние отделяло их от пола. Неприятнее всего было то, что голова оказывалась выше ног и тело все время соскальзывало вниз. Все «постели» крепятся к общим перилам, — стоит одному хоть чуть пошевелиться, и остальных уже раскачивает. Только я успевал задремать, как кто-нибудь начинал ворочаться, чтобы удержаться на своем ложе, и будил меня.

Прошел не один час, прежде чем я смог заснуть. Нас уложили в семь часов, а крики детей, игравших на улице, не затихали почти до полуночи. В комнате стояла ужасающая тошнотворная вонь, воображение мое разыгралось не на шутку, и вся кожа так зудела, что я едва не лишился рассудка. Стоны, бормотание и храп, сливаясь воедино, создавали впечатление, будто в комнате находится какое-то огромное допотопное чудовище. Несколько раз за ночь я, да и не я один, просыпался от истошных криков других ночлежников, которых, вероятно, душили кошмары. Под утро меня разбудила крыса, прыгнувшая мне на грудь. Поднятый ото сна столь неожиданным способом и еще не очнувшись как следует, я испустил такой отчаянный вопль, который мог бы пробудить и мертвого. Во всяком случае, живых-то я поднял, и все они хором принялись бранить меня за невоспитанность.

Но вот настало утро. В шесть часов нам дали завтрак — хлеб и жидкую похлебку, которые я уступил соседу, — и распределили нас всех на работу. Одних назначили чистить помещение, других — трепать пеньку, а восьмерых — в том числе и меня — повели под конвоем через улицу в уайтчепелский лазарет убирать мусор. Так людей заставляют возмещать стоимость похлебки и пользования парусиновой койкой. По моему убеждению, я оплатил с лихвой все затраты.

Хотя нам поручили невообразимо мерзкую работу, она, оказывается, считалась наилучшей, и все семеро пришедших со мной решили, что им здорово повезло.

— Не трогай этого, браток. Сиделка сказала, что тут смертельная зараза, — предупредил меня мой напарник, когда я открыл мешок, в который он приготовился высыпать содержимое мусорного ведра.

Мусор был из больничных палат, и я заверил моего товарища, что не собираюсь трогать заразу и не позволю, чтобы зараза коснулась меня. Тем не менее мне пришлось тащить на спине с пятого этажа вниз не только этот мешок с мусором, но и много других. Мы опорожняли мешки в помойный ящик и поспешно обливали мусор крепким дезинфицирующим раствором.

Возможно, во всем этом есть какое-то мудрое милосердие. Бедняк в ночлежке, или в «обжорке» Армии спасения, или на улице под открытым небом — одна обуза для общества. От него никому нет пользы, и сам он себе тоже в тягость, — только небо коптит. Так не лучше ли ему исчезнуть? Подкошенный жизненными неудачами, изнуренный, голодный, он первая жертва любых эпидемий и быстрее всех сходит в могилу. Он и сам чувствует, что силы общества направлены на его уничтожение.

Мы поливали дезинфицирующей жидкостью участок вокруг мертвецкой, когда подъехали похоронные дроги и на них свалили пять трупов. Разговор тут же перешел на «белый яд» и «черную отраву». Мои товарищи по работе твердо верили, что если бедняк, будь то мужчина или женщина, совсем плох или доставляет чересчур много хлопот, его в больнице «прикручивают в два счета». Они считали, что беспокойным и неизлечимым больным вливают дозу «белого яда» или «черной отравы» и отправляют их на тот свет. Безразлично, так ли это на самом деле или не так. Важно то, что люди в этом уверены и даже придумали термины: «прикручивают в два счета», «белый яд», «черная отрава».

В восемь часов мы сошли в подвал под лазаретом, и нам принесли чаю и гору больничных объедков, наваленных на громадном подносе. Здесь были хлебные корки, куски сала и жира, опаленная свиная кожа, обглоданные кости — и все это побывало в руках и во рту у больных, страдающих самыми различными недугами. Ночлежники рылись в этой куче, переворачивали куски, разглядывали их, отбрасывали совсем уж непригодные, хватали что получше. Да, не очень-то привлекательно выглядели эти люди! Вели они себя, надо прямо сказать, по-свински. Но несчастные были голодны и жадно поедали отбросы. Насытившись, каждый заворачивал остатки в носовой платок и прятал за пазуху.

— Однажды мне тут повезло, — сказал Живчик. — Я нашел целую кучу свиных костей вон там. — Он указал на помойку, в которую сваливали мусор из палат и обливали карболкой. — Такие это были кости — первый сорт, мяса полно! Я собрал их в охапку — и шасть за ворота, чтобы отдать кому-нибудь. Но, как назло, на улице ни души, и я ношусь, как полоумный, а сторож за мной, — думал, верно, что я хочу удрать. Но прежде чем он меня схватил, я-таки успел высыпать кости в передник какой-то старухе.

О Благотворительность! О Филантропия! Спустились бы вы хоть разок в ночлежку и поучились у этого Живчика! На самом дне Бездны он доказал свою любовь к ближнему альтруистическим поступком, который сделал бы честь многим, никогда не заглядывавшим сюда. Живчик поступил благородно. И даже если старуха подхватила какую-нибудь заразу от этих свиных костей, — все равно это было прекрасно, хоть, может быть, и не совсем прекрасно. Но особенно примечательно, на мой взгляд, то, что бедный парень едва не помешался от волнения: ведь могло пропасть зря столько превосходной провизии!

Согласно правилам ночлежек, каждый попавший туда должен провести там полтора суток; однако я уже успел повидать все, что меня интересовало. Я оплатил полностью и похлебку и ночлег и теперь собирался уйти.

— Давай смоемся отсюда, — предложил я одному из товарищей по работе, указывая на ворота, которые открыли, чтобы пропустить дроги с мертвецами.

— И заработаем четырнадцать суток?!

— Зачем? Мы удерем!

— Нет. Я пришел сюда отдохнуть, — вяло отозвался он, — и лишняя ночевка под крышей мне не повредит.

Все прочие были того же мнения. Оставалось удрать одному.

— Помни только: сюда больше нипочем не пустят, — предупредили они меня.

— Ну и не надо! — крикнул я с непонятным для них задором и, выскочив за ворота, со всех ног помчался по улице.

У себя в комнате я переоделся, и не прошло и часа, как уже парился в турецкой бане, выгоняя из своих пор грязь и микробы и сожалея, что не в силах стерпеть температуру в сто шестьдесят градусов вместо ста.

Глава X. «Хождение с флагом»

Я не хочу, чтобы рабочий был
принесен в жертву плодам своего труда.
Я не хочу, чтобы рабочий был принесен в
жертву моим удобствам и моему тщеславию
или же удобствам и тщеславию всего
класса, состоящего из таких, как я.
Пусть ситец будет хуже, а люди будут
лучше. У ткача нельзя отнимать
сознания, что главное — это он, а не
его работа.

Эмерсон[18]

«Ходить с флагом» — означает слоняться всю ночь по улицам. И вот, подняв воображаемый флаг, я вышел из дому, чтобы повидать все, что удастся. Ночью можно встретить бездомных обоего пола повсюду в этом громадном городе, но сегодня я решил отправиться на Западную сторону, в район Лестерской площади, побродить между набережной Темзы и Гайд-парком.

Когда в театрах окончились спектакли, дождь лил как из ведра. Из театральных подъездов высыпала нарядная публика и кинулась искать извозчиков. Улицы были запружены экипажами, но почти все они были уже заняты. И тут я увидел, как бедняки — не только мальчуганы, но и взрослые мужчины — прилагают отчаянные и даже рискованные усилия, стараясь раздобыть экипаж для богатых господ, чтобы заработать малую толику себе на ночлег. Именно «рискованные» — я обдуманно употребляю это выражение, — ибо эти люди рисковали промокнуть до нитки, лишь бы заработать себе на койку, и большинство из них, как я успел заметить, вымокнуть вымокли, а ничего не заработали. Бродить ночь напролет в мокрой одежде, под холодным дождем, когда вы до крайности истощены и во рту у вас не было ни кусочка мяса вот уже неделю, а то и месяц, — пожалуй, одно из тягчайших испытаний, какие могут выпасть на долю человека. Однажды — дело было в Клондайке — я, сытый и хорошо одетый, проехал целый день на нартах в шестидесятиградусный мороз. Это было тоже невесело, но сущий пустяк по сравнению с тем, что испытывают голодные, плохо одетые и вдобавок промокшие до костей люди, которые вынуждены «ходить с флагом» всю долгую ночь

напролет.

После того как театральная публика разошлась, улицы затихли, опустели. Только вездесущий полисмен, возникая то тут, то там, шарил своим фонарем в подъездах и темных закоулках, да жались к стенам зданий, ища укрытия от дождя и ветра, бездомные мужчины, женщины и дети. На Пикадилли, впрочем, было не так пустынно. Панель оживляли нарядно одетые женщины, прогуливавшиеся в единственном числе, и здесь, не в пример другим улицам, обнаруживалась кипучая деятельность, связанная с поисками кавалера. К трем часам ночи, однако, исчезли и эти женщины, и тогда стало совсем тихо.

В половине второго ливень начал утихать и перешел в мелкий обложной дождь. Бездомные оторвались от стен и разбрелись кто куда, чтобы размять ноги и хоть немного согреться.

Еще с вечера я заметил на Пикадилли, неподалеку от Лестерской площади, старуху лет под шестьдесят. Казалось, у нее не хватало уже ни физических сил, ни сообразительности, чтобы спрятаться от дождя или просто сдвинуться с места; она словно впала в транс, грезя, возможно, о тех далеких днях, когда была молода и в жилах ее текла горячая кровь. Но старуху не оставляли в покое, — каждый полисмен считал своим долгом гнать ее прочь. Протащившись несколько шагов, она оказывалась лицом к лицу с новым полисменом, который, в свою очередь, гнал ее дальше. К трем часам ночи она успела доплестись до Сент-Джеймс-стрит, а когда башенные часы пробили четыре, я увидел, что старуха крепко спит, привалившись к чугунной ограде Грин-парка. В это время снова хлынул ливень, и она, конечно, промокла до костей.

«Вообрази, — сказал я самому себе в час ночи, — что ты бедный молодой человек, очутившийся в Лондоне без гроша в кармане, и с утра тебе нужно идти искать работу. А для того чтобы хватило сил на поиски и, может, даже на труд, если тебе повезет, необходимо хоть немного поспать».

И вот я присаживаюсь на каменных ступенях какого-то здания. Через пять минут замечаю, что на меня уставился полисмен, но так как глаза мои широко раскрыты, полисмен с ворчанием удаляется. Минут через десять я склоняю голову на колени, пытаясь вздремнуть. И сразу же слышу грубый окрик полисмена:

— Эй ты, проваливай отсюда!

Я встаю, плетусь куда-то. Но стоит мне где-нибудь присесть, как предо мной немедленно вырастает полисмен и гонит меня дальше.

Окончательно отказавшись от надежды поспать, я пустился бродить по улицам в сопровождении молодого лондонца, который приехал из британских колоний и мечтал вернуться туда. Я заметил теряющуюся во мраке сводчатую нишу какого-то здания. Ее прикрывала невысокая железная решетка.

— Давай перелезем через решетку, — предложил я, — и выспимся как следует.

— Что? — Мой спутник испуганно отшатнулся от меня. — Хочешь угодить в тюрьму на три месяца?! Черта с два!

Под утро я проходил мимо Гайд-парка. Вместе со мной шагал на этот раз изможденный подросток лет пятнадцати; у него были глубоко запавшие глаза и совершенно больной вид.

— Хочешь, перемахнем за ограду, спрячемся в кустах и там поспим? — сказал я. — Полисмены нас не найдут.

— Как же! — возразил он. — А сторожа? Схватят и упекут на шесть месяцев.

Увы, времена меняются. В детстве я не раз читал про бездомных мальчишек, ночующих под лестницами. Это стало литературной традицией. Как стандартная ситуация ночевки под лестницами, несомненно, сохранятся в книгах еще лет сто, но в жизни это уже вывелось. Существуют бездомные мальчишки, существуют и подъезды, но былого счастливого сочетания уже не встречается. В подъездах пусто, — мальчишки не спят, а слоняются всю ночь по улицам.

— Я спрятался под арками во время дождя, — угрюмо сказал мне другой паренек («под арками» — значит под береговыми устоями темзенских мостов), — но полисмен прогнал меня. Я побродил вокруг и вернулся, а он тут как тут. «Эй, — кричит, — опять здесь околачиваешься?» Пришлось убраться. Но все-таки я сказал ему: «Испугался, что я украду ваш сволочной мост?»

Среди лондонских бездомных Грин-парк славится тем, что его ворота открываются раньше, чем ворота других парков, и в четверть пятого утра я вошел в Грин-парк в компании бродяг. Снова припустил дождь, но люди так устали и намучились за ночь, что бросились на скамьи и тут же заснули. Другие в полном изнеможении растянулись прямо на мокрой траве и заснули под проливным дождем.

А теперь я хочу подвергнуть критике властей предержащих. Конечно, сила у них — они могут приказывать что им заблагорассудится, я же лишь беру на себя смелость критиковать абсурдность их приказаний. Они заставляют бездомных ночи напролет бродить по городу. Они гонят их из подъездов и подворотен и не пускают в парки. Цель, которую они преследуют, очевидна: не дать людям спать! Ладно. Власти могут лишить бездомных сна и даже еще чего-нибудь, — на то они и власти. Но почему же тогда, почему в пять часов утра открывают они ворота парков и пускают туда бедняков? Если уж решили лишить людей сна, зачем давать им спать после пяти утра? А если не собирались лишать их сна, так что стоило пустить их сюда пораньше, с вечера?

По этому поводу могу добавить, что я проходил через Грин-парк в тот же день после полудня и насчитал множество оборванцев, храпевших на траве. Было воскресенье, солнце то выглядывало из-за облаков, то снова пряталось, и тысячи нарядных обитателей Западной стороны с женами и детьми прогуливались по парку. Вероятно, смотреть на грязных, оборванных бродяг, валявшихся на траве, было им не особенно приятно, а сами бродяги, я уверен, предпочли бы иметь возможность выспаться еще ночью.

Итак, благородные, изнеженные господа, если вам случится посетить город Лондон и увидеть в парке людей, дремлющих на скамьях и на траве, не спешите делать заключение, что это лодыри, предпочитающие спать, а не работать. Знайте, что по вине властей предержащих они вынуждены были слоняться всю ночь по улицам и что другого места для отдыха днем у них нет.

Глава XI. «Обжорка»

…И я считаю, требование, чтобы у всех людей было здоровое тело, влечет за собой все остальные справедливые требования, ибо кто знает, где были посеяны первые семена тех болезней, от которых страдают даже богачи? В излишествах предков? Возможно. Но

скорее, сдается мне, — в их бедности.

Вильям Моррис[19]

Пробродив всю ночь «с флагом», я не заснул в Грин-парке и с наступлением утра. Хоть я промок насквозь и не спал сутки, но, войдя в роль безработного бедняка, должен был прежде всего промыслить себе завтрак, а затем поискать работу.

Прошлой ночью я слышал, что есть такое местечко на саррейской стороне Темзы, где Армия спасения раздает по воскресеньям бесплатные завтраки «немытым» (а после «хождения с флагом» совсем нетрудно оказаться немытым, если только не помог вам дождь). «Именно то, что мне нужно, — подумал я. — Позавтракать пораньше и потом иметь в своем распоряжении целый день для поисков работы».

Я проделал длинный, утомительный путь, миновал Сент-Джеймс-стрит, Пэлл-Мэлл, Трафальгарскую площадь и Стрэнд, потом, усталый до изнеможения, перешел по мосту Ватерлоо на саррейскую сторону, на Блэкфрайерз-роуд неподалеку от театра, и около семи часов приплелся к казармам Армии спасения. Это и была «обжорка», что в переводе с жаргона на обычный язык означает место, где можно получить даровую еду.

Здесь собралась пестрая толпа обездоленных людей, пробродивших ночь под дождем. Такая страшная нищета и в таком многообразии! Люди самого разного возраста — от стариков до мальчишек, и мальчишки тоже всех возрастов. Многие дремали стоя, человек десять спали крепким сном, приткнувшись на каменных ступенях в крайне неудобных позах. Сквозь дыры в лохмотьях проглядывало покрасневшее от холода тело. И по всей улице, на крыльце каждого дома тоже сидели люди — по двое, по трое. Все они спали, уронив голову на колени. Хочу напомнить, что Англия сейчас не переживает каких-либо исключительных трудностей. Жизнь в стране протекает так же, как всегда, — не лучше, но и не хуже, чем в другие годы.

И вдруг на улице появился полисмен.

— Вон отсюда, свиньи проклятые! — заорал он. — Эй вы! Вон отсюда! — и принялся гнать людей, как собак, на все четыре стороны. Особенное неистовство вызвали в нем те, кто уснул на крыльце казармы.

— Позор! Стыд и позор! — кричал он. — Ведь воскресенье сегодня! Ну и зрелище! Эй вы, черти, нарушители порядка, вон отсюда!

Да, конечно, это было скандальное зрелище. Мне и самому было противно смотреть. И я не хотел бы, чтобы моя дочь увидела эту страшную картину. Я не подпустил бы ее сюда и за милю. Но… вот в том-то и дело, что «но», — и ничего другого не остается сказать.

Полисмен скрылся из виду, и мы снова облепили крыльцо, как мухи банку с медом. Ведь нас ждало нечто замечательное — завтрак! Если бы нам сказали, что тут будут пригоршнями раздавать золото, мы и тогда, наверное, не теснились бы у этой двери более жадно и настойчиво. Некоторые успели и тут заснуть, не присаживаясь. Но вот вернулся полисмен, и мы опять разбежались кто куда и опять устремились к крыльцу, как только опасность миновала.

В половине восьмого приоткрылась узкая дверца, и в ней показалась голова солдата Армии спасения.

— Освободить проход! — скомандовал он. — У кого есть талоны — пусть проходят. У кого нет —

будут ждать до девяти.

До девяти часов! О завтрак, завтрак! Придется ждать еще целых полтора часа! Все с завистью смотрели на счастливых обладателей талонов, которым дозволено было пройти в помещение, умыться, присесть и отдохнуть в ожидании завтрака. Нам же придется ждать его здесь. Талоны были розданы накануне на набережной и на улицах, и достались они этим счастливцам не за какие-либо особые их достоинства, а по воле случая.

В половине девятого впустили еще одну партию с талонами, а около девяти узенькая дверца открылась и для нас. Каким-то чудом мы протиснулись внутрь и очутились, как сельди в бочке, в битком набитом дворике. Много раз за годы бродяжничества у себя на родине мне приходилось с немалым трудом добывать себе завтрак, но ни один завтрак никогда не доставался мне ценой таких усилий, как этот. Более двух часов прождал я на улице и час с лишним во дворе. Я ничего не ел всю ночь и чувствовал слабость во всем теле, а тут еще запах грязного белья и потных, немытых тел, прижатых ко мне со всех сторон, — от всего этого меня едва не стошнило. Мы были так плотно спрессованы, что многие воспользовались этим и заснули стоя.

Я не берусь судить об Армии спасения в целом — для этого я недостаточно осведомлен — и позволю себе подвергнуть критике только тот ее филиал, деятельность которого протекает на Блэкфрайерз-роуд, вблизи театра Саррей. Прежде всего я считаю, что жестоко и бессмысленно принуждать людей, не спавших всю ночь, еще несколько часов выстаивать на ногах, как принуждали нас, слабых, голодных, измученных бессонной ночью, стоять без всякой разумной причины.

В толпе оказалось много матросов, и среди них не меньше дюжины американцев. Я выяснил, что чуть ли не каждый четвертый из пришедших сюда стремится поступить на пароход. Свое пребывание на суше все они объясняли на один лад, и, знакомый с морскими порядками, я верил им. Британские суда нанимают матросов на круговое плавание, с обязательным возвращением в порт отправления; такое плавание иной раз длится до трех лет, причем матрос не имеет права уйти и получить расчет, пока не отработал срока полностью. Плата на судах мизерная, кормежка скверная, обращение еще того хуже. Нередко по вине капитана матросы бегут с кораблей и застревают где-нибудь в Америке или в колониях, а их заработок — изрядная сумма — идет в пользу капитана или пароходной компании. Впрочем, какова бы ни была причина, таких дезертиров бывает много, и капитану приходится брать в обратное плавание кого попало. Новому матросу платят чуть побольше — по ставкам той страны, где его нанимают, но берут его только в один конец — до прибытия в Англию. И это понятно. Было бы весьма нерасчетливо вербовать его на более долгий срок, если в Англии матросов всегда хоть пруд пруди и платить им можно мало. Поэтому появление американских матросов в казарме Армии спасения было нисколько не удивительно. Они искали диковинных мест, поехали в Англию — и вот очутились в самом диковинном из всех.

В толпе находилось еще человек двадцать американцев — не матросов, а «отпетых босяков», чей друг — «шальной бродяга-ветер». Это были веселые парни, главной чертой которых являлся неистребимый оптимизм, и они осыпали Англию изощренной бранью, которая показалась мне приятным разнообразием после того, как пришлось целый месяц слушать одну и ту же фразу, употребляемую лишенным воображения лондонским «кокни». У «кокни» есть лишь одно ругательство, одно-единственное, причем совершенно непристойное, и он его пускает в ход во всех случаях жизни. Совсем другое дело — наш Запад с его красочными и разнообразными словечками, отдающими не столько непристойностью, сколько богохульством. В конце концов, если без ругани человеку не обойтись, то я предпочту богохульство непристойности: в нем смелость, вызов, удальство, что куда лучше, чем просто грязь!

Один босяк из Америки особенно мне понравился. Я приметил его еще на улице — он спал на крыльце, уткнув голову в колени. Я обратил внимание на его шляпу: такую не встретишь по эту сторону океана. Когда полисмен заорал на него, он встал неторопливо и спокойно, смерил полисмена взглядом, зевнул, потянулся, опять посмотрел на полисмена, всем своим видом как бы говоря, что еще подумает, уходить ему или нет, и лишь потом двинулся вразвалку по тротуару. Если я раньше догадывался об американском происхождении только шляпы, то теперь у меня уже не было никаких сомнений, что и ее владелец — мой соотечественник.

Во дворе, в тесноте и давке, нас притиснули друг к другу, и мы разговорились. Он побывал и в Испании, и в Италии, и в Швейцарии, и во Франции и одержал почти невероятную победу, проехав триста миль «зайцем» по французским железным дорогам и не попав в лапы жандармам. Он спросил меня, где я живу. А где ночую? Познакомился ли уже немного с городом? Сам-то он ничего — устраивается кое-как, хотя страна злющая, а города — просто дрянь. Скверно, а? И попрошайничать нельзя нигде: сразу сцапают. Но он не отступит. Вот скоро сюда приедет цирк «Буффало-Билл», и такой человек, как он, который может править восьмеркой лошадей, конечно, получит там работу. Разве здешние обезьяны это умеют? Ни черта они не умеют, им только на волах ездить! Почему бы и мне не дождаться и не попытать счастья в цирке? Он уверен, что я куда-нибудь там пристроюсь.

В конце концов кровь не вода. Мы были соотечественниками и оба на чужбине. Его старая шляпа с первого взгляда вызвала во мне теплые чувства, и он как-то сразу принял братское участие в моей судьбе. Мы обменялись разными полезными сведениями насчет страны и ее обычаев и различных способов добывать здесь пищу, кров и прочее и простились, искренне сожалея, что надо расставаться.

Я обратил внимание на то, что в этой толпе все какие-то маленькие. Я, человек среднего роста, смотрел поверх голов. И англичане и иностранные матросы — все были коротышки. В этой массе людей только пятеро или шестеро были довольно рослые, и они оказались скандинавами или американцами. Однако самым высоким ростом отличался все-таки англичанин, но и он не был лондонцем.

— Вполне годился бы для лейб-гвардии, — сказал я ему.

— Попал в точку, друг, — откликнулся он. — Я уже служил там, и похоже, что скоро придется туда вернуться.

С час мы стояли в этой тесноте тихо и смирно. Потом люди начали нервничать. Кое-кто пытался пробраться вперед, возникла толкотня, раздались недовольные голоса. Впрочем, ничего грубого или резкого — просто усталые, голодные люди проявляли некоторое беспокойство. Как раз в этот момент к нам вышел адъютант Армии спасения. Мне не понравились его злые глаза и то, что в нем не было ничего от милосердного самаритянина, зато весьма много от центуриона, который говорил: «У меня в руках власть, и мне подчиняются солдаты; я говорю этому человеку: „Иди“, — и он идет, а другому: „Приди“, — и он приходит; и слуге моему: „Делай это“, — и он делает».

Именно с таким видом адъютант и смотрел на нас, и те, кто находился поближе к нему, оробели. Тогда он заговорил:

— Стоять смирно! Не то живо скомандую: «Налево кру-гом!» — и выгоню всех отсюда, и ни один не получит завтрака.

Перо бессильно описать нестерпимо наглый тон, которым были сказаны эти слова. Я видел, что

он наслаждается своей властью, тем, что может сказать сотням несчастных оборванцев: «От меня зависит накормить вас или прогнать голодными!»

Отказать нам в завтраке, после того как мы прождали столько часов! Это была страшная угроза. Мгновенно воцарилась тишина, — жалкая, унизительная тишина, доказывавшая общий страх. И это был подлый, трусливый ход, как удар ниже пояса. Мы не могли ответить ударом на удар, потому что были голодны, и так уж устроен мир, что когда один человек кормит другого, он становится его господином. Однако центуриону — я хочу сказать, адъютанту — этого показалось мало. В мертвенной тишине снова прозвучал его голос: он повторил свою угрозу и даже усилил ее.

Наконец нас впустили в зал для пиршества, где уже сидели люди с талонами, успевшие умыться, но еще не получившие еды. Здесь было не менее семисот человек, и нас всех рассадили по местам, но вовсе не для того, чтобы дать сразу вкусить хлеба и мяса, а затем, чтобы мы внимали речам, песнопениям и молитвам. Из этого я заключил, что Тантал в многообразных воплощениях продолжает претерпевать муки по эту сторону ада. Адъютант стал громко читать проповедь, но я не особенно прислушивался к его словам, всецело поглощенный зрелищем горя и нищеты вокруг себя.

Проповедь его сводилась примерно к следующему:

«На том свете вас ожидает вечный пир. Вы голодали и мучились на земле, но в раю вам воздастся сторицей, — разумеется, при условии, что вы будете слушаться наставлений...» И так далее и тому подобное.

Хитро поет, подумал я, но только эта пропаганда ничего не даст по двум причинам: во-первых, люди, для которых она предназначается, — лишенные воображения материалисты, не ведающие о существовании потустороннего мира и слишком привыкшие к аду на земле, чтоб их можно было запугать адом загробным; во-вторых, усталые и измученные бессонной ночью и долгим ожиданием, ослабевшие от голода, они жаждут не спасения души, а наполнения желудка. «Ловцы душ» — так эти бедняки называют религиозных проповедников — должны были бы хоть немного изучить влияние физиологии на психику, если они хотят достигнуть каких-то результатов.

И вот настал долгожданный момент: около одиннадцати часов началась раздача завтрака. Каждая порция была уложена не на тарелку, а в бумажный пакетик. Не скажу, чтобы я получил достаточно, чтобы насытиться, или хотя бы половину того, и уверен, что всем остальным тоже было мало. Я отдал часть хлеба бродяге-американцу, который ждал приезда цирка «Буффало-Билл», но он все равно остался голодным. Вот что входило в завтрак: два ломтика простого хлеба, еще один крохотный ломтик хлеба с несколькими изюминками, именуемый «кексом», да тоненький, как папиросная бумага, кусочек сыра. Каждому налили также по кружке мутной жидкости, сходившей за чай. Многие ждали этого завтрака с пяти утра, остальные простояли здесь по крайней мере часа четыре; нас согнали сюда, как стадо свиней, втиснули, как сельдей в бочку, обращались с нами, как с собаками, пичкали проповедями и гимнами и молились за наши грешные души, — но и это еще было не все.

Не успели мы проглотить завтрак (это заняло один миг), как многие начали клевать носом, и через пять минут половина людей уже крепко спала. Не похоже было, что нас собираются отпустить. Напротив, все свидетельствовало о приготовлении к молитвенному собранию. Я глянул на маленькие стенные часы. Они показывали без двадцати пяти минут двенадцать. «Ого, — подумал я, — время летит, а мне еще надо искать работу!»

— Я хочу уйти отсюда, — сказал я двум своим соседям, которые не спали.

— Надо дождаться богослужения, — ответили мне.

— Вы хотите остаться?

Оба отрицательно покачали головой.

— Тогда пойдемте и скажем им, что мы хотим уйти, — предложил я.

Но они ужаснулись моим словам. Тогда я решил предоставить им самим заботиться о себе и подошел к солдату Армии спасения.

— Я хочу уйти, — сказал я. — Я пришел сюда получить завтрак, а теперь я должен идти искать работу. Мне нужно было подкрепиться, но я никак не думал, что на это уйдет столько времени. У меня есть надежда получить работу в Степни; и чем скорее я туда попаду, тем больше будет шансов.

Солдат казался добродушным малым, но мое требование повергло его в замешательство.

— То есть как? — сказал он. — Сейчас начнется богослужение. Нужно остаться.

— Но тогда я наверняка не получу работы, — возразил я. — А для меня работа — самое главное.

Так как он был всего лишь солдат, то направил меня к адъютанту. Я снова рассказал, почему хочу уйти, и вежливо попросил отпустить меня.

— Но это невозможно! — с ханжеским возмущением произнес адъютант, потрясенный моей неблагодарностью. — Нет, подумать только! — Он даже зафыркал. — Подумать только!

— Значит, вы не позволяете мне уйти отсюда? — решительно спросил я. — Будете держать меня здесь против моей воли?

— Будем, — фыркнул он.

Не знаю, что могло бы в этот момент случиться, ибо я тоже кипел от возмущения. Но так как «паства» начала, видимо, уже интересоваться нашим спором, адъютант потащил меня куда-то в угол, а затем в другую комнату. Там он снова потребовал, чтобы я изложил ему свои доводы.

— Я хочу уйти, — повторил я, — я собираюсь искать работу в Степни, и каждый потерянный час уменьшает мои шансы. Уже почти двенадцать. Когда я шел сюда, я не думал, что столько времени уйдет на завтрак.

— Так значит, у тебя дела? — презрительно хмыкнул он. — Значит, ты деловой человек, а? Тогда зачем же ты сюда явился?

— Я провел ночь на улице, и мне нужно было подкрепиться, прежде чем идти искать работу. Потому я здесь.

— Очень мило! — протянул он тем же презрительным тоном. — Человеку, которого ждут дела, здесь не место. Ты отнял завтрак у неимущего, вот что!

Это была ложь, потому что все, кто хотел попасть сюда в это утро, попали.

Теперь скажите, по-христиански ли он себя вел? Попросту говоря, честно ли? Ведь он ясно слышал, что я бездомный и пришел потому, что был голоден, а теперь должен идти искать работу. А он понес околесицу про какие-то «дела», что я бизнесмен, богач, и вот позарился на бесплатный завтрак, отняв его у голодного бедняка, и, конечно, не бизнесмена, как я.

Я с трудом сдержал гнев и еще раз повторил свои доводы, четко и ясно показав ему, что он несправедлив ко мне и извратил факты. Видя, что я не сдаюсь (а лицо у меня, верно, было довольно злое), он направился со мной через черный ход во двор, где стояла палатка. Все так же пренебрежительно он сказал двум солдатам, сторожившим палатку:

— Вот я привел парня. Говорит, что у него неотложные дела и что не может ждать богослужения.

Разумеется, они были в должной мере потрясены и взглянули на меня с невыразимым ужасом, а мой провожатый, оставив меня у входа, скрылся в палатке и вышел оттуда с майором Армии спасения. С тем же презрением в голосе, особенно подчеркивая слово «дела», он доложил майору о происшествии. Майор был человек иного склада. Мне он сразу понравился, и я опять, слово в слово, повторил свою просьбу.

— А ты разве не знал, что должен будешь остаться на богослужение? — спросил майор.

— Конечно, нет, — ответил я. — Я бы тогда предпочел обойтись без завтрака. У вас нигде не написано, что таков порядок. Надо было хотя бы предупреждать у входа.

Он подумал немного, потом промолвил:

— Ладно, ступай.

Было двенадцать часов, когда я выбрался на улицу; я так и не мог решить, где ж это я находился: в казарме Армии спасения или в тюрьме? Полдня уже прошло, а до Степни отсюда оказалось очень далеко. Было воскресенье, и ведь даже бедняку неохота искать работу в праздник. Кроме того, я чувствовал, что немало потрудился в эту ночь, бродя по городу, и утром — добывая себе завтрак. И вот, решив забыть на время, что я «голодный человек в поисках работы», я вскочил в проходивший омнибус.

Дома я скинул с себя все, что на мне было, принял ванну, побрился, улегся в чистую постель и заснул. Заснул я в шесть часов вечера, а проснулся в девять утра, проспав целых пятнадцать часов. И еще в полудреме, лежа в постели, я вспомнил тех семьсот несчастных, которые остались там вчера дожидаться богослужения. И им, бедным, не помыться, не побриться, не скинуть с себя лохмотья, не поспать пятнадцать часов кряду на чистых простынях. Когда молебствие в Армии спасения окончилось, их снова выгнали на улицу, и снова перед ними встали вечные вопросы: как раздобыть кусок хлеба на обед, где укрыться ночью от непогоды и откуда взять кусок хлеба, когда наступит новый день?

Глава XII. День коронации

Волной от супостата
Надежно огражден,
Республикой когда-то
Ты был, о Альбион!
Край Мильтона великий,
Ты под ярмом склонен…

Приемлешь глав
венчанных
Затасканную ложь
И, раб речей обманных,
Покорно спину гнешь,
Простор небес не видишь
И воздух сфер не пьешь!

Суинберн[20]

Vivat Rex Eduardus![21] Сегодня короновали короля, и было устроено пышное празднество с целым шутовским представлением, а мне все это непонятно и навевает грусть. Я никогда не видывал ничего столь нелепо мишурного, если не считать американского цирка и балета «Алгамбра» [22], и столь трагически безнадежного — тоже.

Чтобы получить удовольствие от коронации, мне следовало бы явиться прямо из Америки в отель Сесиль и оттуда — на трибуны для «умытых», где за место взимают пять гиней. Ошибка моя заключалась в том, что я прибыл с Восточной стороны, со стороны «немытых», — их, кстати сказать, собралось здесь немного. Жители Восточной стороны в подавляющем большинстве остались дома и напились допьяна. Социалисты, демократы и республиканцы отправились за город подышать свежим воздухом, мало интересуясь тем, что сорок миллионов англичан венчают на царство нового помазанника Божьего. Шесть с половиной тысяч прелатов, священников, государственных деятелей, принцев и военных присутствовали при коронации и миропомазании царственного владыки, мы же — все прочие — должны были довольствоваться лицезрением торжественного шествия.

Я наблюдал церемонию с Трафальгарской площади. Это «первая по красоте площадь в Европе», как ее называют; самое что ни на есть сердце Британской империи! Нас собралось там много тысяч человек, сдерживаемых в железной узде превосходно организованным воинским ограждением. Двойная стена солдат отрезала процессию от зрителей. Подножие колонны Нельсона окаймляли три ряда синих мундиров. Восточнее, у входа на площадь, выстроилась королевская морская артиллерия. На скрещении Пэлл-Мэлл и Кокспер-стрит уланы и гусары подпирали со всех сторон памятник Георгу III. В западной части площади алели мундиры моряков королевского флота, а от Юнион-клуба до самой Уайтхолл-стрит выстроился плотным сверкающим полукольцом 1 — й лейб-гвардейский полк — великаны верхом на гигантских конях, стальные панцири, стальные каски, стальные чепраки — мощный стальной кулак, готовый ударить по первому приказу властей предержащих. Далее, как бы расслаивая толпы зрителей, тянулись длинные шпалеры городской полиции, а позади всех стояли резервы — рослые, откормленные вооруженные люди, умеющие ловко орудовать саблей в случае надобности.

Так было на Трафальгарской площади, и так было по всему пути следования процессии — демонстрация мощи, колоссальной мощи, и людей, красивых, статных, как на подбор, у которых одно только назначение в жизни: слепо повиноваться и слепо убивать, уничтожать, вытаптывать все живое. И для того, чтобы они были всегда сыты, хорошо одеты и хорошо вооружены, а государство имело бы корабли, чтобы перебрасывать их во все концы земного шара. Восточная сторона Лондона и «восточная сторона» всей Англии трудится до седьмого пота, заживо гниет и вымирает.

Существует китайская поговорка: «Если один живет в лени, другой умирает от голода». А Монтескье[23] сказал: «Из-за того, что много людей занято изготовлением одежды для одного человека, много людей вовсе не имеют одежды». Таким образом, одно объясняет другое. Мы не

поймем, откуда берется этот голодный малорослый труженик Восточного Лондона, ютящийся со всей семьей в жалкой конуре, сдавая при этом внаем углы таким же, как он, голодным заморышам, пока не увидим верзилу лейб-гвардейца Западного Лондона и не узнаем, что первый должен кормить и одевать второго.

И вот, в то время как в Вестминстерском аббатстве сажают нового короля на трон, я, зажатый между лейб-гвардией и полицией на Трафальгарской площади, предаюсь размышлениям о том, как народ израильский впервые взял себе царя. Вы все помните текст из священного писания. «Все старейшины пришли к Самуилу и сказали ему: «…поставь над нами царя, чтобы он судил нас, как у прочих народов…

И сказал Господь Самуилу: итак, послушай голоса их; только представь им и объяви им права царя, который будет царствовать над ними.

И пересказал Самуил все слова Господа народу, просящему у него царя, и сказал: вот какие будут права царя, который будет царствовать над вами: сыновей ваших он возьмет и приставит их к колесницам своим и сделает всадниками своими, и будут они бегать пред колесницами его;

и поставит их у себя тысяченачальниками и пятидесятниками, и чтобы они возделывали поля его, и жали хлеб его, и делали ему воинское оружие и колесничный прибор его;

и дочерей ваших возьмет, чтоб они составляли масти, варили кушанье и пекли хлебы;

и поля ваши и виноградные и масличные сады ваши лучшие возьмет и отдаст слугам своим;

и от посевов ваших и из виноградных садов ваших возьмет десятую часть и отдаст евнухам своим и слугам своим;

и рабов ваших и рабынь ваших, и юношей ваших лучших и ослов ваших возьмет и употребит на свои дела;

от мелкого скота вашего возьмет десятую часть, и сами вы будете ему рабами;

и восстенаете тогда от царя вашего, которого вы избрали себе, и не будет Господь отвечать вам тогда».

Так вот оно все и произошло в те далекие времена, и воистину народ воззвал к Самуилу, говоря:

«Помолись о рабах твоих перед Господом Богом твоим, чтобы не умереть нам; ибо ко всем грехам нашим мы прибавили еще грех, когда просили себе царя».

И после Саула и Давида царствовал Ровоам, который ответил народу сурово и сказал им:

«…отец мой обременил вас тяжким игом, а я увеличу иго ваше; отец мой наказывал вас бичами, а я буду наказывать вас скорпионами».

И в наши дни пятьсот лордов владеют по наследству одной пятой частью Англии; вкупе с придворными и королевскими слугами и всеми теми, кто представляет власть, они растрачивают ежегодно на ненужную роскошь миллиард восемьсот пятьдесят миллионов долларов, или триста семьдесят миллионов фунтов стерлингов, что равно тридцати двум процентам общего богатства, созданного руками трудового народа.

В Вестминстерском аббатстве под звуки фанфар и гром военных оркестров, окруженный блестящей толпой лордов и иностранных владык, король, в великолепной золотой мантии, торжественно принимал атрибуты верховной власти. Лорд-камергер положил к его ногам шпоры, а архиепископ кентерберийский вручил ему меч в красных ножнах, сопровождая его речью:

— Прими сей королевский меч с престола Господня. Вручают его тебе священники, недостойные слуги Господа.

И, опоясываемый мечом, король внимал заклинаниям архиепископа:

— Твори мечом этим справедливость, искореняй зло, охраняй святую церковь Господню, защищай вдов и сирот и помогай им; восстанавливай то, что пришло в упадок, береги то, что восстановлено, карай и исправляй дурное и поддерживай хорошее.

Стоп, внимание! Со стороны Уайтхолла прокатилось «ура!», толпа заколыхалась, солдаты стали навытяжку — и вот показались королевские гребцы в маскарадных средневековых одеяниях красного цвета. Ну, точь-в-точь как выход на цирковом параде! Затем выкатила дворцовая карета, битком набитая придворными дамами и джентльменами, с ливрейными лакеями в пудреных париках на запятках и пышно одетыми кучерами. За ней другие кареты, и в каждой лорды и камергеры, виконты и фрейлины — словом, вся лакейская. Дальше воины, королевский эскорт: генералы со следами ратных трудов на бронзовых лицах, прибывшие в Лондон со всех концов света; офицеры волонтерских войск, офицеры милиционной армии и кадровые офицеры; Спенс и Пламер, Бродвуд и Купер, который сменил Укипа; Малтияс, отличившийся в Даргае, Диксон, командовавший при Флакфонтейне; генерал Гейзли и адмирал Сеймур, только что из Китая; Китченер — герой Хартума, и лорд Робертс, воевавший в Индии и повсюду на земном шаре, — военачальники Великобритании, специалисты по разрушениям, инженеры смерти! Порода людей, резко отличная от тех, кто работает на фабриках и обитает в трущобах, — да, совершенно иная раса!

Проходят эти, а за ними еще и еще, без конца. Какая помпа, какая спесь и мощь — стальные люди, военные диктаторы, поработители мира! Идут вперемежку пэры и члены палаты общин, принцы и магараджи, шталмейстеры короля и дворцовые стражи. А вот пошли колониальные солдаты, стройные, худощавые, закаленные; а дальше войска всех племен и народов: из Канады, Австралии и Новой Зеландии; с Бермудских островов и с Борнео; с островов Фиджи и Золотого Берега; из Родезии, Капской колонии, Наталя, Сиерра-Леоне и Гамбии; из Нигерии и Уганды; с Цейлона, Ямайки, Кипра; из Гонг-Конга и Вей-Хай-Вея; из Лагоса, с Мальты и с Санта-Лючии; из Сингапура и с Тринидада. Скачут верхом покоренные племена с Инда — смуглые наездники с саблями, во всей своей дикой первобытности, — сикхи, раджпуты, бирманцы, провинция за провинцией, каста за кастой; глаза слепит от малинового и алого.

Мелькнули золотые доспехи — промчались конногвардейцы на чудесных пони светлой масти. И сразу же ураган приветствий и неистовый треск оркестров: «Король! Король! Боже, храни короля!» Начинается массовый психоз. Я, кажется, тоже охвачен им, я тоже готов орать: «Король! Боже, храни короля!» Я вижу вокруг себя оборванных людей, которые со слезами на глазах подбрасывают шапки вверх и самозабвенно вопят: «Благослови их! Благослови!» Вот он, смотрите, — в волшебной золотой карете, на голове сверкающая корона; рядом с ним женщина в белом и тоже в короне.

И я стараюсь убедить себя, что все это наяву, а не в сказочном сне. Но нет, я не могу поверить, — и, пожалуй, так даже лучше. Куда отраднее думать, что этот балаган, и мишура, и помпа, и почти суеверное поклонение — лишь выдумка, сказка, а не реальные действия

нормальных, здравомыслящих людей, овладевших тайнами природы и секретом звезд.

Мелькают в роскошных нарядах князья и князьки, герцоги и герцогини, всевозможные титулованные особы из свиты монарха; потом еще воины, еще лакеи, еще какие-то покоренные народы — и сказочная процессия кончается. Толпа увлекает меня с площади в лабиринт узеньких уличек, где в кабаках стон стоит от пьяного веселья, где все перемешалось — мужчины, женщины и даже дети. Со всех сторон несется популярная песенка, подобающая моменту:

Коронация сегодня — веселиться нам пора,
Так начнем гулять, плясать и кричать: «Ура!»
То-то вволю мы попьем виски, херес, джин и ром…
Коронация сегодня — развеселая пора!

С неба льет ливень. На улице появляются вспомогательные территориальные войска — черные африканцы и желтые азиаты в тюрбанах и фесках, за ними кули с ношей на голове: пулеметами и горными пушками. Босые ноги ритмично шлепают по грязи — хлюп, хлюп, хлюп. Кабаки разом пустеют, братья-англичане выбегают и громкими возгласами приветствуют смуглых вассалов, но тут же спешат вернуться к прерванному возлиянию.

— Понравилась коронация, папаша? — спросил я одного старика на скамейке Грин-парка.

— Мне-то? Ах, черт, подумал я, самое время выспаться — полицейских нет! Вот и махнул сюда, а со мной еще человек пятьдесят. Да никак не мог заснуть от голода, — лежал и все думал, думал. Всю свою жизнь я проработал, а теперь вот негде даже голову приклонить, а тут еще эта музыка, крик, салюты… И мне, словно я анархист какой, захотелось броситься туда и проломить башку лорду-камергеру.

Почему именно лорду-камергеру — этого я не мог понять, и он не сумел мне объяснить.

— Такое у меня было чувство, — сказал старик исчерпывающим тоном, и на этом наш разговор окончился.

С наступлением ночи зажглась иллюминация. Всюду засверкали гирлянды огней — зеленых, янтарных, красных, и вензеля из двух горящих букв: «E. R.». Тысячные толпы высыпали на улицы, и хотя полиция старалась не допускать буйства, пьяных и хулиганов было хоть отбавляй. Усталый трудовой люд, казалось, потерял голову от непривычного возбуждения, радуясь возможности в кои веки отдохнуть и поразвлечься. Стар и млад, мужчины и женщины водили хороводы, распевали песни: «Может, я сошел с ума, но я люблю тебя», «Долли Грей» и «Куст душистый и пчела» с таким припевом:

Ты цветок, а я пчела, я к тебе лечу,

Мед твоих пунцовых губок выпить я хочу!

Я сидел на набережной Темзы и глядел, как играют огни иллюминации, отражаясь в воде. Близилась полночь, и мимо меня лился людской поток — возвращались с гулянья «солидные» лондонцы, чуравшиеся шумных улиц. На скамейке рядом со мной клевали носом два оборванных существа — мужчина и женщина. Женщина, крепко прижав скрещенные руки к груди, ни минуты не сидела прямо: то никла всем телом вперед так, что казалось, вот-вот она потеряет равновесие и упадет, то приподнималась и сразу валилась влево, роняя голову на плечо мужчины, то откидывалась вправо, но от неудобства и напряжения вздрагивала, открывала глаза и рывком выпрямлялась; затем опять клонилась вперед и проходила весь

цикл, пока боль от неудобного положения вновь не заставляла ее встряхнуться.

Возле них то и дело останавливались мальчишки и парни постарше; забегая сзади, они вдруг издавали какой-нибудь дикий звук. Спящая пара, как от толчка, мгновенно просыпалась, и их лица были так искажены испугом, что прохожие начинали весело гоготать.

Больше всего меня удивляла эта черствость окружающих, которую никто и не пытался скрыть. Бездомный на городской скамье — здесь совершенно привычное зрелище, это несчастное, безобидное существо, и над ним можно безнаказанно издеваться. Тысяч пятьдесят людей прошло мимо нас, пока я сидел на скамейке, и ни у одного из них, даже в этот день, когда они все так развеселились по случаю коронации, не дрогнуло сердце, не подсказало подойти к спящей и предложить: «Вот вам шесть пенсов на ночлег». Наоборот, женщины, особенно молодые, потешались над тем, как эта несчастная клевала носом, и отпускали шутки, которые неизменно смешили их кавалеров.

Пользуясь их собственным жаргоном, это было «кошмарно», я бы сказал даже — чудовищно. Не скрою, меня уже сильно бесила эта веселящаяся толпа, и я невольно с каким-то мрачным удовлетворением припомнил статистику, которая показывает, что в Лондоне каждому четвертому из взрослых обитателей его суждено умереть в благотворительном учреждении — в работном доме, больнице или богадельне.

Я завел разговор с моим соседом по скамейке. Ему пятьдесят четыре года, он бывший портовый грузчик. Изредка его берут на работу, но лишь в случае особой горячки, когда до зарезу нужны люди. В другое время предпочитают более молодых и здоровых. Уже семь суток, как он живет на набережной, но на следующей неделе надеется поправить дела: может, посчастливится поработать несколько дней, — тогда он снимет себе койку в ночлежке. Он всю жизнь прожил в Лондоне, если не считать пяти лет с 1878 года, когда был призван в армию и служил солдатом в Индии.

Голоден ли он? Еще бы! И девушка тоже. Сейчас у них особенно тяжкие дни, хоть полиции не до них и можно, казалось, хотя бы отоспаться. Я разбудил эту девушку, вернее сказать, молодую женщину («Мне уже двадцать восемь лет, сэр», — сказала она), и повел обоих в кофейню.

— Сколько тут работы было! — сказал мне мой новый знакомый, глядя на какое-то ослепительно иллюминованное здание.

Работа была для этого человека смыслом существования. Всю жизнь он трудился, и работа была единственным критерием, с которым он подходил к оценке всех жизненных явлений и самого себя в том числе.

— Очень хорошо, что коронация, — продолжал он свою мысль. — Дали людям работу.

— А вы-то ведь по-прежнему голодны? — заметил я.

— Что ж, — вздохнул он. — Ходил я тоже, да меня не взяли. Возраст не тот! А вы чем занимаетесь? Моряк? Я так сразу и подумал.

— А я знаю, кто вы, — сказала женщина. — Итальянец!

— Да что ты! — с жаром возразил старик. — Он янки, вот кто. Уж я-то знаю.

— Боже ты мой, что тут делается! — воскликнула наша спутница, когда мы, пробившись на

Стрэнд, очутились в гуще шумной, развеселой толпы. Мужчины горланили песню, им резкими, хриплыми голосами подпевали девушки:

Коронация сегодня — веселиться нам пора,

Так начнем гулять, плясать и кричать: «Ура!»

То-то вволю мы попьем виски, херес, джин и ром…

Коронация сегодня — развеселая пора!

— До чего же я грязная! Где-где только не побывала сегодня! — сказала женщина, вытирая заспанные глаза, в уголках которых чернела сажа. Мы уже сидели за столиком в кофейне. — Но очень было интересно! — продолжала она. — Мне так понравилось, только скучновато одной. Дамы такие важные, все в роскошных белых платьях! Красивые, как картинки!

— Я ирландка, — сказала она в ответ на мой вопрос. — Меня зовут Айторн.

— Как? — не понял я.

— Айторн, сэр, Айторн.

— Что за имя такое? Как оно пишется?

— Ну, Хэйторн. А говорится: Айторн.

— О! — сказал я. — Значит, вы ирландская «кокни»?

— Да, сэр, я родилась здесь, в Лондоне.

Хэйторн мирно жила в родительском доме, пока не погиб от несчастного случая отец, и она осталась одна-одинешенька. Старший брат ее служил в солдатах, у другого — жена и восемь человек детей, а зарабатывает он двадцать шиллингов в неделю, да и то не всегда. Чем он ей может помочь? Однажды она ездила на три недели куда-то в Эссекс, за двенадцать миль, собирать фрукты.

— Я вернулась оттуда черная-пречерная, ей-богу! Вы бы прямо не поверили!

Последнее время она работала в кофейне с семи утра до одиннадцати ночи за стол и пять шиллингов в неделю; потом заболела, попала в больницу и с тех пор, как вышла оттуда, не может найти работы. Чувствует она себя все еще плоховато, а вот уже вторую ночь приходится проводить на улице.

И она и старик уплетали за обе щеки, но не могли насытиться, пока не съели по второй и третьей порции.

Во время ужина женщина протянула руку через стол и пощупала материю на моем пиджаке и рубашке.

— Хорошие вещи носят янки! — заметила она.

Это мои-то тряпки хорошие! Я даже покраснел от неловкости, но, приглядевшись повнимательнее к себе и к моим собеседникам, пришел к заключению, что я и в самом деле не так уж плохо одет и сравнительно прилично выгляжу.

— А что же вы думаете делать дальше? — спросил я у них. — Ведь старость-то не за горами.

— Ну, пойду в работный дом, — сказал мужчина.

— Нет уж, провалиться мне на этом месте, если я туда пойду! — заявила женщина. — Дело мое дрянь, но лучше сдохнуть на улице, чем идти туда. Нет уж, спасибо! — На несколько минут воцарилось молчание. — Спасибо! — повторила она.

— Вот вы ходите так всю ночь по улице, — сказал я, — а как вы добываете себе еду утром?

— Стараюсь достать где-нибудь пенни, если не сберег от вчерашнего дня, — ответил старый грузчик. — Иду в кофейню, беру кружку чая.

— Ну, этим сыт не будешь, — возразил я.

Оба многозначительно улыбнулись.

— Сидишь и пьешь маленькими глоточками, — пояснил он, — чтобы подольше растянуть, да все поглядываешь, не оставил ли кто чего-нибудь на столе.

— Вы не поверите, сколько некоторые оставляют, — добавила женщина.

— Самое главное, — рассудительно закончил ее приятель, — это достать пенни.

Наконец-то я понял, на что он намекает.

Когда мы уходили, мисс Хэйторн собрала с соседних столов какие-то корочки и спрятала под свою рваную шаль.

— Нечего таким добром бросаться, — сказала она, и старик одобрительно закивал головой, тоже засовывая в карман чьи-то объедки.

В три часа утра я шел по набережной. Эта ночь была сущим праздником для бездомных, потому что полицию услали в другие места. Все скамейки были заняты спящими. Женщин оказалось здесь не меньше, чем мужчин, и большинство этих бездомных были старики и старухи. Видел я, правда, и нескольких мальчиков. На одной скамейке устроилась целая семья: муж сидел, держа на руках спящего младенца, жена его спала, положив голову ему на плечо, а ей в колени уткнулся головкой спящий мальчуган. Глаза мужчины были широко раскрыты; он глядел на воду и думал какую-то свою думу — занятие не очень полезное для бездомного человека, обремененного семьей. Неохота разгадывать его мысли, но я знаю, да и всему Лондону это хорошо известно, что случаи, когда безработный убивает жену и детей, не так уж редки.

Невозможно пройти в ночной час по набережной Темзы от парламента мимо обелиска Клеопатры до моста Ватерлоо и не вспомнить страданий, описанных две тысячи семьсот лет тому назад в книге Иова:

«Межи передвигают, угоняют стада и пасут у себя; у сирот уводят осла, у вдовы берут в залог вола; бедных сталкивают с дороги, все уничиженные земли принуждены скрываться.

Вот они, как дикие ослы в пустыне, выходят на дело свое, вставая рано на добычу; степь дает хлеб для них и для детей их;

жнут они на поле не своем и собирают виноград у нечестивца;

нагие ночуют без покрова и без одеяния в стуже; мокнут от горных дождей и, не имея убежища, жмутся к скале;

отторгают от сосцов сироту и с нищего берут залог; заставляют ходить нагими, без одеяния, и голодных кормят колосьями…»

(Иов.24:2-10).

С тех пор миновало двадцать семь столетий! Но столь же правдиво звучат эти слова и сегодня в самом центре христианской цивилизации, где царствует король Эдуард VII.

Глава XIII. Дэн Каллен, портовый грузчик

Величье жизни ты найдешь едва ли
В подворье смрадном и в сыром подвале.

Томас Эш

Вчера я посетил одну из комнат муниципальных жилых домов близ Леман-стрит. Если бы внезапно передо мной раскрылось безрадостное будущее и я узнал бы, что мне предстоит жить в этой комнате до самой смерти, я пошел бы и утопился в Темзе, чтобы раз и навсегда покончить с этим.

Да это была и не комната. Назвать ее комнатой так же невозможно, как невозможно назвать дворцом какую-нибудь хижину, не совершая грубого насилия над языком. Скорее нора, берлога — шесть шагов в длину и пять в ширину, с таким низким потолком, что воздуху тут было меньше, чем полагается на британского солдата в казармах. Половину «комнаты» занимала какая-то немыслимая кушетка, покрытая тряпьем; остальное место почти заполняли — колченогий стол, стул и несколько ящиков. Все это имущество, вместе взятое, стоило от силы пять долларов. Ни коврика, ни дорожки на полу, зато стены и потолок обильно изукрашены кровяными пятнами. Каждое такое пятно свидетельствовало о насильственной смерти насекомого, которыми забиты все щели в доме; бороться с ними в одиночку — непосильная задача.

Обитатель этой конуры, портовый грузчик Дэн Каллен, лежал при смерти в больнице. Однако жалкая обстановка его жилища сохранила какой-то отпечаток его личности, так что можно было получить некоторое представление о том, что за человек этот Дэн Каллен. Стены были увешаны дешевыми портретами Гарибальди, Энгельса, Джона Бернса[24] и других вождей рабочего класса, а на столе я заметил роман Уолтера Безанта[25]. Мне рассказали, что Дэн Каллен читал Шекспира и книги по истории, социологии и политической экономии, — все это будучи самоучкой.

Среди разного хлама на столе лежал листок бумаги, на котором было нацарапано: «М-р Каллен, прошу вернуть большой белый кувшин и пробочник, которые вы у меня одолжили». Видимо, когда Дэн Каллен заболел, соседка дала ему на время эти предметы, а теперь, испугавшись, что он умрет, требовала их обратно. Большой белый кувшин и пробочник — слишком ценные вещи для обитателя Бездны, чтобы он мог позволить своему ближнему спокойно умереть без напоминания ему о них. До последнего вздоха душу Дэна Каллена должна терзать людская черствость, от которой он тщетно стремился найти избавление.

История Дэна Каллена коротка, но многое в ней можно прочесть между строк. Он родился плебеем в таком городе и в такой стране, где установлены строжайшие кастовые

разграничения. Всю жизнь он ворочал тяжести, но потому, что он пристрастился к чтению, увлекся пищей духовной и умел составить письмо, «как адвокат», его товарищи избрали его туда, где нужно было ворочать мозгами. Он стал руководителем организации грузчиков фруктовых товаров, он представлял ее в лондонском совете профсоюзов и писал острые корреспонденции в рабочие газеты.

Он не раболепствовал перед людьми, даже если эти люди являлись его хозяевами и от них зависело, получит ли он кусок хлеба. Он смело высказывал свои мысли и не боялся вступать в борьбу. Во время всеобщей стачки портовых грузчиков он был одним из ее руководителей, и это оказалось роковым для Дэна Каллена: с того дня он стал «меченым», и более десяти лет ему мстили за его деятельность.

Грузчик — это поденщик. В работе бывают приливы и отливы — в зависимости от того, сколько надо погрузить или выгрузить товаров. Дэна Каллена подвергали дискриминации. Окончательно его не выгнали — боялись скандала (хотя это было бы куда милосерднее), но работу давали не чаще двух-трех раз в неделю. Это то, что называется «проучить», «дисциплинировать» рабочего, иначе говоря: заморить его голодом. Десять лет такой жизни надломили его душу, а после этого человек долго не протянет.

Он слег. Оттого, что он становился беспомощнее, его ужасная конура принимала все более ужасный вид. Одинокий старик без всякой родни, обозленный и мрачный, он боролся с мучившими его насекомыми, а с грязных стен на него взирали портреты вождей. Никто из жителей этой густонаселенной муниципальной казармы не навещал его (он тут ни с кем не подружился), и Дэну Каллену была предоставлена полная свобода гнить заживо.

Но с далекой восточной окраины к нему пришли его единственные друзья — сапожник с сыном. Они прибрали в комнате, вытащили из-под больного почерневшие от грязи простыни, постелили чистое белье, которое принесли с собой; они же привели к нему сиделку из Олдгейтского королевского благотворительного общества.

Сиделка обмыла больному лицо, выбила пыль из постели и завела беседу с ним. Он слушал ее с интересом, пока она случайно не назвала свою фамилию.

— Да, моя фамилия — Блэнк, — ничего не подозревая, сказала она, — и сэр Джордж Блэнк — мой брат.

— Как, сэр Джордж Блэнк — ваш брат?! — загремел старый грузчик, привскочив на постели.

Сэр Джордж Блэнк, поверенный администрации кардиффского порта, тот самый, который больше всех постарался, чтобы разгромить кардиффский союз портовых грузчиков, и удостоился рыцарского звания? А она, стало быть, его сестра? Тут Дэн Каллен сел на своей страшной постели и изверг проклятия на нее и всю ее родню. И она бежала оттуда со всех ног, чтобы никогда больше не возвратиться, унося в сердце обиду на черную неблагодарность бедняков.

Ноги Дэна Каллена отекли от водянки. Целыми днями он сидел на постели, спустив их на пол (этим он сгонял отеки с тела); тоненькое одеяльце на коленях, на плечах старый пиджак. Миссионер принес ему бумажные комнатные туфли за четыре пенса (я их видел) и вознамерился прочитать с полсотни молитв за спасение его души, но Дэн Каллен был не из тех, кто позволяет первому встречному залезать себе в душу, копаться в ней за какие-то четырехпенсовые шлепанцы. Он попросил миссионера оказать ему любезность — открыть окошко, чтобы он мог выбросить эти шлепанцы. И миссионер поспешил удалиться навсегда,

как и сестра Блэнк, оскорбленный черной неблагодарностью бедняков.

Сапожник — тоже героический старик, хоть его подвиги никем не воспеты и нигде не записаны, — отправился на свой риск и страх в главную контору крупного фруктового агентства, где Дэн Каллен работал поденщиком в течение тридцати лет. Эта фирма пользуется почти исключительно трудом поденных рабочих. Сапожник рассказал о безвыходном положении Дэна Каллена — старого, больного, умирающего, совершенно одинокого и без гроша, напомнил, что этот человек проработал у фирмы три десятка лет, и попросил оказать ему какую-нибудь помощь.

— Нет, — сказал управляющий, который отлично помнил, кто такой Дэн Каллен, не заглядывая ни в какие списки, — нет, мы ничего не можем сделать. У нас, видите ли, существует твердое правило не помогать поденным рабочим.

Они и пальцем не пошевелили, даже не подписали ходатайства о помещении Дэна Каллена в больницу. А это не простое дело — устроиться в больницу в прекрасном городе Лондоне. Чтобы попасть в больницу в Хэмстеде, например, даже пройдя врачебную комиссию, Дэну Каллену пришлось бы ждать очереди на койку месяца четыре, не меньше. В конце концов сапожник поместил его в Уайтчепелский лазарет. Там он частенько навещал своего друга и обнаружил, что Дэн Каллен заразился общим настроением больных: он уверял, что его, как и всех неизлечимых, спешат отправить на тот свет. Нельзя не согласиться, что в умозаключении, сделанном больным стариком, была своя логика, — ведь его с такой настойчивостью «учили» и «дисциплинировали» последние десять лет! У него нашли нефрит и заставляли потеть, чтобы согнать жир с почек, но Дэн Каллен был совершенно убежден, что его просто-напросто хотят уморить: ведь нефрит — это распад почек, и какой там может быть вредный жир, — доктор просто-напросто врет. Врач был настолько разгневан поведением больного, что девять дней не подходил к нему.

Потом койку Дэна Каллена установили в наклонном положении, чтобы ноги были выше головы. Отеки немедленно перешли на тело, и больной решил, что это делается с единственной целью — доконать его. Он потребовал выписки из лазарета. Его предупредили, что он свалится на лестнице, но он кое-как дотащился до мастерской сапожника. Сейчас он умирает в другой больнице, куда верный друг-сапожник поместил его, употребив на это нечеловеческие усилия.

Бедный Дэн Каллен! Джуд Незаметный[26], стремившийся к знаниям! Занятый весь день физическим трудом, он ночи напролет просиживал за книгами; он мечтал о светлом будущем и доблестно боролся за Идею; патриот, борец за свободу человека, он бесстрашно вступал в сражения; и вот под конец у него не хватило духа, чтобы подняться над окружавшей его обстановкой. В предсмертные часы, лежа на койке для нищих в бесплатной палате, он стал циником и пессимистом. «Когда умирает человек, который мог стать мудрецом, но не стал им, — это я называю трагедией».

Глава XIV. Хмель и сборщики хмеля

Стране богатой, где в нужде народ,
Не избежать мучительных невзгод.
Пусть процветает или гибнет знать —
Всегда нетрудно новую создать.
Крестьян же, Англии живую кровь,
Сгубив, никак не возродите вновь.

Голдсмит[27]

Отделение трудящихся от земли зашло так далеко, что теперь во всех цивилизованных странах мира деревня не в состоянии убрать урожай без помощи города. Когда щедрые дары земли начинают уже гнить на корню, призывают обратно в деревню изгнанных оттуда бедняков, ставших жителями городских трущоб. Но в Англии — это не блудные сыны, возвращающиеся под отчий кров, это отщепенцы, бродяги, парии. Встречаемые с недоверием и презрением своими сельскими братьями, они вынуждены ночевать в тюрьмах и ночлежках, а нередко прямо под забором и жить так, как не приведи Бог никому.

Подсчитано, что одному только Кенту для сбора хмеля требуется восемьдесят тысяч городских бедняков. И они устремляются туда из гетто, трущоб и притонов, этих страшных и никогда не иссякающих людских муравейников, послушные зову не только желудка, но и души, сохранившей еще тягу к приключениям. Они заполняют деревни, словно полчища мертвецов, восставших из могил, и все от них шарахаются: пришельцы там не к месту. Малорослые, безобразные, рассыпались они по дорогам и проселкам, словно ядовитая плесень. Присутствие их на земле, самый факт их существования — оскорбление яркому солнцу, зеленой траве, всему, что растет и цветет. Красивые, стройные деревья укоризненно глядят на чахлых уродцев, чья хилость оскверняет нетронутую прелесть природы.

Сгущаю ли я краски? С какой точки зрения смотреть. Те, для кого самое главное в жизни — приобретать акции и стричь купоны, расценят это именно так; но те, для кого дороже человек и его здоровье, конечно, не сделают подобного вывода. Какая масса горя и нищеты — и все для того, чтобы миллионер — владелец пивоваренных заводов мог жить в своем дворце на Западной стороне, смотреть в раззолоченных лондонских театрах спектакли, дразнящие его чувственность, якшаться с титулованными ничтожествами и удостоиться от короля посвящения в рыцари. Будто он и впрямь заслужил эти рыцарские шпоры! В старину рослые белокурые бестии носились на своих скакунах в авангарде войск и зарабатывали себе рыцарское звание, рассекая врага от головы до пояса. И если на то пошло, так уж лучше сразу убить сильного человека одним ударом звонкой стали, чем на протяжении веков коварными паучьими приемами угнетать политически и экономически и тем низводить его, и его внуков, и правнуков до нечеловеческого состояния.

Но поговорим о хмеле. В этой отрасли, как и в остальных, резко сказывается отделение трудящихся от земли. В то время как производство пива непрерывно увеличивается, разведение хмеля идет на убыль. В 1835 году посевы его занимали 71 327 акров, а в нынешнем — 48 024 акра, причем только по сравнению с прошлым годом площадь уменьшилась на 3 103 акра.

Но даже и с этой сокращенной площади собрали меньше, чем предполагали, из-за скверного, дождливого лета. Недород бьет не только по владельцу плантации, но также и по сборщику. Волей-неволей владелец лишится какой-то части благ; но сборщику придется урезать себя в харчах, которых он и при хорошем урожае никогда не имел вдосталь. За последние недели в лондонских газетах бросались в глаза такого сорта заголовки: «Б р о д я г и з б ы т о к, а х м е л я м а л о, и о н е щ е н е с о з р е л». Или заметки в таком духе: «С хмельников поступают печальные вести: внезапное прояснение погоды привлекло в Кент сотни сборщиков, но им приходится ждать, пока хмель созреет. В работном доме Дувра сегодня в три раза больше бродяг, чем было в это время в прошлом году, и в других городах по той же причине скопилось большое число безработных поденщиков».

В довершение бед, когда уже, наконец, приступили к сбору, разразилась страшная буря с грозой и градом, уничтожившая почти весь хмель и едва не погубившая людей. Хмель сорвало

с жердей и повалило на землю, а сборщиков, спасавшихся от крупного града в землянках и палатках на низине, едва не затопило. После бури на них жалко было смотреть; их положение было еще тяжелее, чем прежде, — ибо, как ни плох урожай, все же каждый рассчитывал заработать хоть несколько пенсов, а тут пришлось не солоно хлебавши тащиться назад в Лондон.

— Подметать нам его, что ли? — говорили люди, не желая глядеть на землю, по щиколотку устеленную хмелем.

Те, кто остался обирать полуголые стебли, негодовали, что за шиллинг должны сдать семь бушелей[28] хмеля, как и в урожайный год, когда хмель первоклассный.

Я побывал в Тестоне, а также в Восточном и Западном Фарлее вскоре после бури, слышал, как роптали сборщики, и видел гниющий на земле хмель. В парниках Бархам-Корта градом выбило тридцать тысяч стекол и уничтожило все: персики, сливы, груши, яблоки, ревень, капусту, свеклу.

Это было, разумеется, довольно печально для предпринимателей, но, даже в худшем случае, ни один из них не остался без обеда. Однако именно этим людям печать пространно выражала сочувствие, с нудными подробностями сообщая об их убытках. Например: «М-р Херберт Лени исчисляет свои потери в 8 000 фунтов стерлингов; м-р Фремлин, владелец прославленного пивоваренного завода, арендующий всю землю в этом округе, потерпел убыток на сумму в 10 000 фунтов; столь же сильно пострадал брат Херберта Лени, владелец пивоваренного завода в Уотерингбюри». Что касается сборщиков хмеля, то о них никто даже и не вспомнил. Тем не менее я беру на себя смелость утверждать, что для вечно голодного м-ра Вильяма Баглса и его вечно голодной жены и вечно голодных детишек лишиться нескольких даже самых скудных обедов гораздо большее несчастье, чем для пивовара Фремлина потерять 10 000 фунтов стерлингов; тем более что трагедия Баглса может быть умножена на тысячи таких же, а трагедию Фремлина едва ли можно помножить на пять.

Желая собственными глазами увидеть, как идут дела у такого Баглса и его собратьев, я надел свой костюм кочегара и отправился на поиски работы. Компанию мне составил Берт — молодой сапожник из Восточного Лондона, большой охотник до всяких приключений. По моему совету, он обрядился в самое что ни на есть старье и всю дорогу от Мейдстона беспокоился, дадут ли нам, таким оборванцам, работу.

И не так уж он был неправ. Когда мы зашли перекусить в придорожный трактир, хозяин не спускал с нас подозрительного взгляда и, лишь убедившись, что у нас есть деньги, стал чуть любезнее. Местные жители, встречавшиеся на пути, поглядывали на нас недоверчиво. А гуляки из Лондона, проносясь мимо в экипажах, с гиканьем и улюлюканьем выкрикивали оскорбления по нашему адресу. Однако к концу пребывания в этом районе мой друг понял, что мы одеты ничуть не хуже, а пожалуй, даже лучше любого сборщика хмеля. Нам довелось увидеть в тот день просто фантастические лохмотья.

— Отлив! — крикнула своим товаркам какая-то женщина, похожая на цыганку, когда мы подошли к ларям, куда сборщики сваливали хмель.

— Понял? — шепнул мне Берт. — Это она на твой счет проехалась.

Да, я понял. Сказано было метко. Во время отлива судно не выходит в море, и матросы вынуждены оставаться на берегу. Моя матросская фуфайка на хмелевой плантации в Кенте красноречиво доказывала, что я сел на мель, как садится лодка при морском отливе.

— Не найдется ли для нас работенки, хозяин? — спросил Берт у пожилого управляющего с добродушным лицом, который был чем-то очень занят.

Тот решительно ответил: «Нет». Но Берт не отставал от него, я тоже, и, куда бы он ни двинулся, мы следовали за ним. Так мы обошли чуть не все поле. То ли ему понравилась наша настойчивость, которую он принял за особое рвение к труду, то ли его тронул наш несчастный вид и рассказ о злоключениях, но в конце концов он смилостивился и указал на ларь для хмеля — единственный свободный, как оказалось, потому что двое рабочих ушли отсюда, не сумев заработать на пропитание.

— Но чтоб без хулиганства, слышите?! — предупредил управляющий, оставляя нас работать в обществе женщин.

Была суббота. Мы знали, что рабочий день скоро кончится, и усердно принялись за дело, желая проверить, удастся ли нам заработать хотя бы на соль. Работа оказалась легкая, прямо-таки женская. Мы сидели на краю ларя, между шпалерами, по которым вился хмель, и человек, обрывавший его, бросал нам сверху крупные душистые ветки. За час мы научились на ощупь находить шишки и срывать их разом по полдесятка. В этом и заключалась вся премудрость.

Мы действовали проворно, не отставая от женщин, и все же их лари наполнялись быстрее: им помогали стаи ребятишек, которые обрывали хмель обеими руками почти так же быстро, как и мы.

— Стебли обрывать не разрешается, — сказала нам какая-то женщина.

Мы поблагодарили ее и стали оставлять стебельки.

Скоро мы убедились, что мужчине, работая в одиночку, здесь не прокормиться. Женщины, даже дети, успевают сделать больше мужчины: ему не под силу соревноваться с матерью, окруженной выводком ребятишек; они работают артелью, и их совместные старания определяют заработок.

— Я голоден, как зверь, Берт, — сказал я. Мы в тот день еще не обедали.

— Я сам готов лопать хмель, черт побери, — отозвался он.

И мы принялись сетовать на то, что не позаботились обзавестись потомством, — вот и нет у нас в столь трудную минуту помощников! Так мы коротали время, развлекая своей болтовней соседей. Мы даже завоевали расположение деревенского паренька, обязанностью которого было выдергивать жерди и подбирать с земли упавшие цветы, — он то и дело подбрасывал в наш ларь горсть шишек.

От этого парня мы узнали, на какой «аванс» можно тут рассчитывать. Рабочему платят шиллинг за семь бушелей хмеля, но чтобы получить этот шиллинг, нужно сдать двенадцать бушелей, то есть за пять бушелей деньги задерживаются. Так хозяева принуждают сборщика оставаться до конца работ, независимо от того, хороший урожай хмеля или плохой, — особенно когда плохой.

Впрочем, сидеть на солнышке было приятно: золотистая цветочная пыльца сыпалась с рук, острый аромат хмеля щекотал ноздри; память о шумных городах, откуда пришли сюда все эти люди, затуманилась, отодвинулась куда-то далеко. Бедные, горемычные бродяги! Бедные обитатели трущоб! И они стремятся на простор полей, и их одолевает смутная тоска по земле,

с которой их согнали, тоска по ветру, дождю, солнцу и вольному воздуху, не осквернённому городским смрадом. Как море манит моряка, так манит их плодородная земля, и в каждом хилом, нерасцветшем теле живет душа далеких предков, которые не знали городов. Людей безотчетно волнуют и радуют звуки, краски и запахи земли, потому что в крови у них еще живут воспоминания, хоть памятью они давно утрачены.

— Хмель весь, приятель, — вздохнул Берт.

Было уже пять часов, и нам прекратили подачу ветвей, чтобы сборщики успели привести все в порядок, потому что по воскресеньям не работали. Целый час томились мы без дела в ожидании учетчиков. Как только село солнце, сразу похолодало, и ноги у нас изрядно застыли. Рядом с нами две женщины и шестеро ребятишек собрали девять бушелей хмеля. У нас же с Бертом по обмеру оказалось пять бушелей. Тоже не плохо, если принять во внимание, что дети наших конкуренток были в возрасте от девяти до четырнадцати лет.

Пять бушелей! Значит, за три с половиной часа мы вдвоем заработали восемь с половиной пенсов. По четыре с четвертью пенса на брата — чуть больше одного пенса в час! В виде аванса мы могли получить только пять пенсов; впрочем, за неимением мелочи учетчик вручил нам шестипенсовик. Он остался глух к нашим мольбам, повесть о наших бедах не тронула его сердца. Он громко заявил, что мы и так получили на пенс больше, чем следовало, и с тем удалился.

Допустим на минуту, что мы и в самом деле те, за кого себя выдавали, — бедняки без гроша за душой, — и посмотрим, как развертывались бы события дальше. Надвигалась ночь, а мы еще не ужинали, даже не обедали, и на двоих имели шесть пенсов. Я один легко проел бы не шесть пенсов, а в три раза больше, и Берт тоже. Ясно было, во всяком случае, что, удовлетворив шестью пенсами желудок на одну шестую, мы оставили бы его на пять шестых возмущенным такой несправедливостью. Далее. Очутившись снова без денег, мы должны были бы ночевать под забором, что, возможно, не так уж страшно, только, правда, пришлось бы пожертвовать частью тепла, полученного нами от еды. Завтра — воскресенье и вынужденный отдых. А глупый желудок не желает отдыхать! Стало быть, вот проблема: где взять деньги, чтобы набить его три раза в воскресенье и дважды в понедельник? (Ведь следующего «аванса» можно было ждать только в понедельник вечером!) Мы знали, что ночлежки переполнены, а если обратиться за подаянием к фермерам, то рискуем угодить в тюрьму на четырнадцать суток. Что оставалось делать? Мы посмотрели друг на друга с отчаянием. Да нет же, вовсе не с отчаянием! Мы от души возблагодарили Бога за то, что Он сотворил нас непохожими на других людей, особенно на сборщиков хмеля, и зашагали по дороге в Мейдстон, побрякивая серебряными монетами, которыми запаслись, выходя из Лондона.

Глава XV. Мать моряков

Эти глупые крестьяне, которые
держат на своих плечах царские троны,
приносят славу государственным
деятелям, обеспечивают генералам
прочные победы, оставаясь в то же время
невежественными, апатичными или
исполненными тупой ненависти; эти
крестьяне, которые своим трудом движут
мир, хотя их заставляют уничтожать друг
друга во имя Бога, короля и биржи, —

эти мечтатели, жалкие глупцы,
заслужившие бессмертие, позволяют
командовать собою какой-нибудь пышной
марионетке и отдают свою жизнь в
распоряжение денежного мешка.

Стивен Крейн[29]

Меньше всего можно было рассчитывать на встречу с «Матерью моряков» в сердце Кента, но именно там я ее нашел — на убогой улице, в бедном районе Мейдстона. На окне ее дома не виднелось объявления о сдаче внаем комнат, и мне пришлось долго ее уговаривать, прежде чем она согласилась пустить меня переночевать в своем зальце. Вечером того же дня я зашел в подвал, где у них была кухня, побеседовать с нею и с ее мужем — Томасом Магриджем.

Во время этой беседы тонкости и условности сложной цивилизации нашего машинного века перестали для меня существовать. Мне казалось, что я проникаю под кожу, добираюсь до тайников души удивительного островного племени, найдя какой-то сплав всех его черт в супружеской паре Магриджей. Я обнаружил и дух странствий, увлекавший сынов Альбиона за моря и океаны, и колоссальное безрассудство, заставлявшее англичан ввязываться в нелепые инциденты и бессмысленные войны, и слепую настойчивость, и упорство, приведшие их к имперскому величию; и наравне с этим я обнаружил огромное, непостижимое долготерпение этого народа, безропотно несущего тяжкое бремя труда от рождения до смерти и покорно посылающего лучших своих сынов на край света воевать и колонизировать чужие земли.

Томасу Магриджу семьдесят один год. Он мал ростом — из-за этого его и не взяли в солдаты. Он жил безвыездно на одном месте и работал. Все воспоминания его детства связаны с работой. Труд — единственное, что он знал всю свою жизнь, трудится он и сейчас. Каждое утро старик встает с петухами и спешит на поденную работу, — он чуть ли не с пеленок поденщик. Жене его семьдесят три года. Семи лет она начала работать в поле — сначала наравне с мальчишками, потом — с мужчинами. И по сей день она не перестает трудиться — убирает в доме, стирает, варит, печет, а теперь еще готовит и для меня и заставляет меня краснеть, застилая по утрам мою постель. Старики проработали более шестидесяти лет, но ничего не накопили, и впереди их не ждет ничего, кроме работы. Тем не менее они довольны. Ни на что другое они и не рассчитывают, ни о чем другом и не мечтают.

Живут они скромно. Потребности их весьма ограниченны: кружка пива после рабочего дня за кухонным столом в подвале, еженедельная газета, которая читается семь вечеров подряд, и беседа — вялая и однообразная, как жвачка. Со стены смотрит на них с гравюры худенькая, ангелоподобная девушка, под гравюрой надпись: «Наша будущая королева». А с пестрой литографии рядом глядит пожилая полная дама. «Наша королева в день шестидесятилетия пребывания на троне», — прочел я внизу.

— Слаще нет ничего, чем хлеб, добытый в поте лица, — изрекла миссис Магридж, когда я намекнул, что им пора, пожалуй, отдохнуть.

А муж ее в ответ на мой вопрос, есть ли им подмога от детей, сказал так:

— Нет, да мы и не нуждаемся в помощи. Будем работать — я и мать, — пока нас Бог не приберет.

И миссис Магридж энергично закивала головой в знак полного согласия.

Старуха произвела на свет пятнадцать человек детей, но одни уехали, другие умерли. Только самая младшая живет в Мейдстоне, ей двадцать семь лет. Дети обзавелись семьями, своих забот по горло, как и положено семейным людям.

Где же дети? Спросите лучше, где их только нет! Лиззи в Австралии, Мери в Буэнос-Айресе, Полин в Нью-Йорке, Джо умер в Индии… В угоду гостю упомянули всех — и живых и покойных, и солдата, и матроса, и жену колониста.

Мне показали фотографию, изображающую молодцеватого парня в солдатской форме.

— А это который из ваших сыновей? — спросил я.

Они дружно рассмеялись. Да разве это сын? Это внук! Только что из Индии, солдат, королевский горнист. В одном полку с ним служит и его брат. И так оно шло и шло — сыновья и дочери, внуки и внучки — мировые путешественники, строители империи… Впрочем, и старики, не покидавшие родины, тоже помогали строить империю.

Стоит Богатой Морячки дом
У Северных Ворот;
Она рождает на свет бродяг
И в земли заморские шлет.
Одни утонут у берегов,
Другие — от суши вдали;
Мать услышит и снова шлет сыновей
Во все концы земли.

Но «Мать моряков» уже почти перестала давать потомство. Род ее пошел на убыль, меж тем как население земного шара увеличивается. Может быть, жены ее сыновей продолжат род, сама же она на это уже не способна. Выходцы из Англии ныне стали жителями Австралии, Африки, Америки. Англия так упорно усылала за океаны «лучших сынов», а тех, кто не уехал, подвергает столь безжалостному истреблению, что теперь ничего другого ей не остается, как только сидеть бессонными ночами да глядеть на своих королев.

Исчезла порода истых моряков британского торгового флота. Туда не вербуются больше такие «морские волки», как те, кто сражался под водительством Нельсона при Трафальгаре и на Ниле. Теперь матросами на торговых судах служат все больше иностранцы, хотя командуют ими по-прежнему англичане, которые любят в случае чего гнать вперед представителей других наций. В Южной Африке буры показывают британцам, как надо воевать, а британские офицеры совершают глупости и попадают впросак, хотя у них на родине, в Англии, устраиваются грандиозные гулянья для городской бедноты в честь снятия осады с Мафекинга, а военное министерство под шумок снижает норму роста для новобранцев.

Да иначе и невозможно. Даже самый благодушный британец не может рассчитывать на долголетие, обескровливая себя полуголодной жизнью. Рядовые Магриджи вынуждены переселяться в города, и там они плодят малокровное, хилое потомство, для которого не хватает еды. Силы расы, говорящей на английском языке, сосредоточены сегодня не на тесном маленьком британском острове, а в Новом Свете, за океаном, куда перекочевали сыновья и дочери миссис Магридж. «Морячка у Северных Ворот» уже доигрывает свою роль на мировой арене, хоть она и не понимает этого. Пора ей на покой, пора дать отдых усталому телу, и если старческая немощь не приведет ее в ночлежку или в работный дом, то это потому, что она вырастила себе детей на черный день.

Глава XVI. Собственность против личности

Права частной собственности
настолько расширились, что права
общества почти полностью исчезли, и
едва ли будет преувеличением сказать,
что благосостояние, жизненные
удобства и гражданские свободы
большинства населения брошены к ногам
кучки собственников, которые не
занимаются никаким трудом.

Джозеф Чемберлен[30]

При цивилизации, имеющей откровенно утилитарный характер и кладущей в основу собственность, а не душу, — собственность неизбежно начинает попирать личность, и всякое нарушение прав собственности карается строже, нежели нарушение прав личности. Человек, вынужденный спать под открытым небом из-за того, что ему нечем уплатить за койку в ночлежке, представляется куда более опасным преступником, чем тот, который в кровь избил жену и переломал ей ребра. Подростка, выкравшего полтора десятка груш из товарного вагона богатой железнодорожной компании, сочтут более серьезной угрозой для общества, чем молодого хулигана, напавшего без всякого повода на семидесятилетнего старика. Девушку, которая обманом сняла угол, сказав, что имеет работу, обязательно подвергнут суровому наказанию, — иначе она и ей подобные взорвут, чего доброго, всю систему частной собственности. Вот если бы она бесстыдно фланировала ночами по Пикадилли и Стрэнду, полиция не преследовала бы ее и уж она заработала бы себе на комнату.

Привожу в качестве образца выдержки, сделанные мною из судебных отчетов за одну неделю:

Полицейский суд, Уиднис. Судьи: Госсадж и Нийл. Обвинялся Томас Линч в том, что он в пьяном виде нарушил общественный порядок и напал на полисмена. Обвиняемый похитил из-под стражи женщину, нанес побои полисмену и бросал в него камнями. Приговорен к штрафу: за нарушение общественного порядка — 3 шиллинга 6 пенсов и за оскорбление действием — 10 шиллингов плюс судебные издержки.

Полицейский суд в Куинс-парке, Глазго. Городской судья Норман Томсон. Джон Кейн признал себя виновным в избиении жены. Имел до этого пять судимостей. Приговорен к штрафу в 2 фунта 2 шиллинга.

Судебная коллегия Тонтонского графства. Джон Пейнтер, высокий, здоровый мужчина, называющий себя рабочим, привлечен к ответственности за избиение жены. У нее обнаружены два больших кровоподтека под глазами, сильная опухоль лица. С Пейнтера взыскан штраф 1 фунт 8 шиллингов, включая судебные издержки, и взята подписка о том, что он будет соблюдать общественное спокойствие.

Полицейский суд, Уиднис. Рассматривалось дело Ричарда Бествика и Джорджа Хэнта, нарушивших границы чужого владения с целью охоты на дичь. Оба приговорены к штрафу: Хэнт — на 1 фунт плюс судебные издержки, Бествик — на 2 фунта плюс судебные издержки. Штраф заменен одним месяцем тюремного заключения ввиду неплатежеспособности обвиняемых.

Полицейский суд, Шафтсбери. Судья — мэр города мистер Карпентер. Обвиняемый Томас

Бейкер приговорен к тюремному заключению на четырнадцать суток за то, что спал на улице.

Центральный полицейский суд, Глазго. Судья Дэнлоп. Подросток Эдуард Моррисон обвинялся в краже пятнадцати груш из железнодорожного вагона. Приговорен к тюремному заключению на семь суток.

Полицейский суд, Донкастер. Судьи: Кларк и другие. На основе закона о борьбе с браконьерством рассматривалось дело Джеймса Мак-Гоуана. У обвиняемого найдены капканы и много кроликов. Приговор: штраф в 2 фунта стерлингов плюс судебные издержки или один месяц тюрьмы.

Графство Данфермлайн. Шериф Джиллеспи. Шахтер Джон Йонг признал себя виновным в избиении Александра Сторрара. Ответчик избивал истца кулаками по голове и телу, потом повалил на землю и ударил крепежным бревном. Приговорен к штрафу в 1 фунт стерлингов.

Полицейский суд, Керкалди. Судья Дишарт. Саймон Уокер признал себя виновным в том, что ударил человека и сбил с ног без всякого повода. Судья охарактеризовал обвиняемого как личность, представляющую серьезную угрозу для всего района, и оштрафовал его на 30 шиллингов.

Полицейский суд, Мэнсфилд. Суд в составе мэра города и судебных заседателей Ф. Тернера, Дж. Уитекера, Ф. Тидсбери, Э. Холмса и д-ра Р. Несбитта слушал дело по обвинению Джозефа Джексона в нападении на Чарлза Нэнна. Джексон без каких-либо оснований напал на истца, повалил его на землю и нанес ногой удар в голову. Нэнн потерял сознание и находился после этого две недели на излечении. Джексон оштрафован на 21 шиллинг.

Графство Перт. Шериф Сим. Судился за браконьерство Дэвид Митчел, имевший две судимости, последнюю — три года назад. Перед шерифом возбуждено ходатайство о снисхождении ввиду преклонного возраста обвиняемого — шестьдесят два года, а также ввиду того, что он не сопротивлялся при аресте. Приговорен к тюремному заключению сроком на четыре месяца.

Графство Донди. Заместитель шерифа, достопочтенный Р. Уокер судил за браконьерство Джона Мэрей, Доналда Крэга и Джеймса Паркса. Крэг и Паркс приговорены каждый к штрафу в 1 фунт стерлингов, который может быть заменен четырнадцатью сутками тюрьмы, Мэрей, — к штрафу в 5 фунтов стерлингов или к одному месяцу тюрьмы.

Полицейский суд, Ридинг. Суд в составе У. Монка, Ф. Парфитта, Х. Уолиса, Г. Гилэгэна рассмотрел дело Альфреда Мастерса, шестнадцати лет, обвиняемого в том, что он спал на пустыре и не имеет видимых средств к существованию. Приговор: семь суток тюрьмы.

Город Салсбери. Судебная коллегия в составе мэра, С. Хоскинса, Г. Фулфорда, Э. Александра и У. Марлоу рассмотрела дело Джеймса Мора по обвинению в краже пары сапог со двора магазина. Приговор: тюремное заключение сроком на двадцать один день.

Полицейский суд, Хорнкасл. Судьи: его преосвященство У. Массингберд, его преосвященство Дж. Грэхем и м-р Лукас Колкрафт. Молодой рабочий Джордж Брекенбери обвинялся в том, что без малейших оснований совершил, как это квалифицировал суд, зверское нападение на Джеймса Фостера, старика семидесяти лег. Преступник оштрафован на 1 фунт 5 шиллингов 6 пенсов.

Уорксоп. Судебная коллегия в составе Ф. Фолжамбе, Р. Эдисона и С. Смита рассмотрела иск священника Лесли Грэхема к Джону Пристли, который нанес ему оскорбление действием. Обвиняемый в пьяном виде катил коляску с ребенком наперерез проезжавшей подводе; при

столкновении коляска опрокинулась и ребенок выпал на мостовую. Подвода переехала коляску, но ребенок остался невредим. Пристли бросился избивать возчика, а когда священник Грэхем, наблюдавший эту сцену, выразил ему порицание, то Пристли избил и священника. Пострадавшему оказана медицинская помощь. Обвиняемый приговорен к штрафу в 40 шиллингов с оплатой судебных издержек.

Полицейский суд, Ротергам, Уэст Райдинг. Судьи С. Райт, Г. Пью и полковник Стодарт слушали дело Бенджамена Стори, Томаса Браммера, Сэмюэла Уилкока, обвиненных в браконьерстве. Приговор: тюремное заключение сроком на один месяц каждому.

Полицейский суд, графство Саутгемптон, в составе адмирала Дж. Раули, Х. Кэлм-Симора и др., рассмотрел дело Генри Торрингтона, привлеченного к ответственности за то, что спал на улице. По решению суда подсудимый заключен в тюрьму на семь суток.

Полицейский суд, Экингтон. Суд в составе майора Л. Баудена, Р. Эйр, Х. Фаулера и д-ра Корта приговорил Джозефа Уотса, укравшего из сада девять кустов папоротника, к тюремному заключению на один месяц.

Рипли. Судебная коллегия в составе Дж. Уилера, У. Бембриджа и М. Хупера рассмотрела в соответствии с законом о борьбе с браконьерством дело Винсента Аллена и Джорджа Холла, похитивших большое количество кроликов, и Джона Спархема, содействовавшего им. Холл и Спархем оштрафованы на 1 фунт 17 шиллингов 4 пенса, Ален — на 2 фунта 17 шиллингов 4 пенса с оплатой судебных издержек. Подсудимые заключены в тюрьму ввиду их неплатежеспособности — первый и второй на четырнадцать суток, третий на один месяц.

Полицейский суд Юго-западного района, Лондон. Судья м-р Роуз. Арестованный Джон Пробин обвинялся в нанесении тяжелого увечья полисмену. Пробин избил свою жену, а также постороннюю женщину, старавшуюся его остановить. Полисмен уговаривал его пойти домой, но Пробин внезапно сбил его с ног ударом в лицо и продолжал избивать и душить лежачего. Затем он преднамеренно ударил полисмена ногой по самому опасному месту, нанеся ему серьезное увечье, которое на долгий срок лишит его трудоспособности. Приговор суда: шесть недель тюремного заключения.

Полицейский суд, Ламбет, Лондон. Судья м-р Хопкинс. «Бэби» Стюарт, девятнадцати лет, назвавшая себя хористкой, заключена под стражу за то, что преднамеренно нанесла содержательнице пансиона Эмме Брейзер убыток в пять шиллингов. Подсудимая сняла меблированную комнату в доме Эммы Брейзер на Атуэлл-роуд, заявив, что служит в театре Краун. После того как Стюарт бесплатно пользовалась пансионом м-сс Брейзер в течение трех дней, последняя навела справки и, узнав, что квартирантка солгала, потребовала ее ареста. Стюарт заявила суду, что хотела бы работать, но не может из-за тяжелой болезни. Приговор суда: шесть недель тяжелых принудительных работ.

Глава XVII. «Непригодность»

Я скорей уж согласился бы умереть
на большой дороге под открытым небом. Я
скорей бы согласился умереть с голоду
на вольном воздухе, или утонуть в
гордой морской пучине, или погибнуть от
пули в упоении жестокой битвы, нежели
влачить скотское существование в
зловонном аду и после всего испустить

дух на нищенской постели.

Роберт Блэтчфорд[31]

Я приостановился на майлэндском пустыре, привлеченный спором в группе мужчин. Был вечер; спорщики, представлявшие, по-видимому, верхушку рабочего класса, окружили одного из своих — человека лет тридцати с приятным и открытым лицом — и довольно возбужденно отчитывали его:

— Ну, а как насчет этой шантрапы иммигрантской? — наскакивал один. — Как насчет евреев из Уайтчепела, которые душат нас, вырывают работу из-под носа?

— Да они разве виноваты? — следовал ответ. — Они такие же люди, как мы, и тоже жить хотят. Нельзя винить человека за то, что он продает свой труд дешевле, чем ты, и его берут на твое место.

— Понятно. А что же будут делать мои жена и дети? — не унимался собеседник.

— Ишь ты какой! А у него, что ли, нет жены и детей? Собственная семья для него дороже, чем твоя. Он не может допустить, чтобы она голодала, вот он и продает свой труд по дешевке; а ты катись, куда хочешь. Но чем же он, бедняга, виноват? Какой у него выход? Плата всегда снижается, когда на одно место хотят попасть двое. Тут все дело в конкуренции, а не в человеке, который согласен работать дешевле.

— Но у тех, кто в профсоюзе, плата не снижается! — возразили ему.

— То-то и оно. Профсоюз не допускает конкуренции, зато там, где нет союза, становится еще труднее. Вот туда и проникают эти дешевые рабочие руки из Уайтчепела. Это все неквалифицированный народ, непрофсоюзный, они рвут друг у друга работу, и нашу прихватят заодно, если у нас не будет защиты — сильного профсоюза.

Не углубляя спора, этот человек показал своим собеседникам, что, когда двое борются за одно место, заработок обязательно снижается. Если бы он проанализировал глубже, то пришел бы к выводу, что даже профсоюз с двадцатью тысячами членов не в состоянии удержать заработную плату на определенном уровне, когда двадцать тысяч безработных рвутся занять их место. Это превосходно подтверждается теперь, при возвращении демобилизованных солдат из Южной Африки. Положение их поистине отчаянное — десятками тысяч они вливаются в армию безработных. По всей Англии снижается заработная плата, и это вызывает трудовые конфликты и забастовки, а безработные ждут не дождутся подхватить инструменты, брошенные забастовщиками.

Потогонная система труда и нищенские заработки, сонмы безработных и бездомных людей, лишенных даже разового пристанища, — все это неизбежно, когда предложение труда превышает спрос. Женщины и мужчины, которых я встречал на улицах, в городских ночлежках и «обжорках» Армии спасения, приходят туда вовсе не потому, что такую жизнь они считают «малиной». Я достаточно подробно описал, какие мучения выпадают на их долю, и, думаю, для каждого ясно, что их житье — далеко не «малина».

Трезвый расчет показывает, что в Англии выгоднее работать за двадцать шиллингов в неделю и питаться регулярно и спать в постели, чем слоняться по улицам. Ведь бродяге куда труднее: и работа у него более тяжелая и платят ему меньше. Я рассказал, как проводит он свои ночи и как, вконец измученный, плетется в «палату разового ночлега» отдохнуть. Ясно, что такая жизнь — не сласть. Намять четыре фунта пеньки, раздробить двенадцать центнеров камня или

проделать совершенно омерзительную работу за корку черствого хлеба и койку... да это же безрассудное расходование сил со стороны ночлежников! А со стороны властей — это чистый грабеж. Они платят людям значительно меньше, чем платил бы за такой труд капиталист-предприниматель. Делая то же самое для частного хозяина, рабочий имел бы лучшую постель и лучшую пищу, был бы в лучшем настроении и уж подавно свободнее. Итак, повторяю, посетители «палаты разового ночлега» безрассудно расходуют силы. И они это понимают, недаром они так чураются подобных заведений и идут туда лишь чувствуя полное изнеможение. Но все-таки идут. Почему? Вовсе не потому, что у них отбита охота к труду. Совсем наоборот — у них нет никакой охоты бродяжить. В Соединенных Штатах бродяга — это почти всегда рабочий, которому неохота трудиться. Он считает, что бродяжничать легче, чем работать. В Англии же дело обстоит иначе. Здесь власти предержащие делают все возможное, чтобы отбить охоту бродяжить, — и, надо признать, весьма успешно добиваются своей цели. Бродяге ясно, что за два шиллинга, что равняется нашим пятидесяти центам, он ел бы три раза в день, имел бы постель да выкроил бы еще два-три пенни на мелкие расходы. И, конечно, он предпочел бы заработать эти два шиллинга, а не пользоваться милостью ночлежки, — ведь и работа была бы полегче и не пришлось бы терпеть такого унижения. Почему же он не работает? Потому, что людей, желающих работать, больше, чем есть на них спрос.

Когда предложение труда превышает спрос, начинается процесс отсева. Изо всех отраслей промышленности вытесняются менее работоспособные рабочие. Вытесненные по этой причине, они уже не в состоянии подняться, а обречены падать все ниже и ниже, пока не найдут такое место в промышленной структуре, где они еще могут быть использованы. Самые же непригодные безжалостно и неумолимо вытесняются и отсюда летят на «дно», в Бойню, где в муках погибают.

Достаточно одного взгляда на этих записанных в непригодные и попавших на «дно» людей, чтобы убедиться, какими они здесь становятся развалинами — в умственном, физическом и моральном отношениях. Исключение составляют новички — эти просто не выдержали наверху конкуренции, и разрушительный процесс пока только начинает делать свое страшное дело. Запомним, что все силы здесь губительные, иных нет. Человек со здоровым телом, попавший сюда из-за недостаточных умственных способностей, быстро теряет осанку и силы, другой, со здоровым духом, которого привела сюда физическая неполноценность, утрачивает ясность мысли и развращается. Смертность на «дне» особенно высока, и все же люди слишком долго страдают, прежде чем их постигнет конец.

Так создаются резервы Бездны и Бойни. Процесс непрерывного вытеснения происходит повсюду, во всех отраслях промышленности, — менее пригодных вырывают, как сорную траву, и швыряют вниз. А непригодными люди становятся в силу разных причин. Механик, лишенный чувства ответственности и почитающий постоянную работу тягостью, будет опускаться до тех пор, пока не очутится в рядах поденщиков — то есть там, где вообще не существует постоянной работы и где человек мало за что отвечает. Опускаются на «дно» — кто быстро, а кто постепенно — медлительные и неповоротливые, люди с неразвитым телом или умом, а также те, кто не обладает крепкими нервами и физической выносливостью. Непригодными становятся и хорошие рабочие, получившие увечья в результате какого-нибудь несчастного случая, и состарившиеся рабочие, утратившие былую энергию и смекалку; и для них начинается страшный, безостановочный спуск на «дно», где их уже не ждет ничего, кроме смерти.

Статистика Лондона рисует ужасающую картину. Население столицы — это одна седьмая часть всего населения Великобритании; по ежегодному подсчету, каждый четвертый из всех умерших здесь за год взрослых окончил свои дни в благотворительном учреждении: либо в работном доме, либо в больнице, либо в богадельне. Но ведь людей состоятельных не постигает

подобный конец, значит ясно, что смерть в благотворительном учреждении — это удел примерно каждого третьего взрослого рабочего.

В качестве примера того, как хороший рабочий может вдруг оказаться непригодным и что с ним тогда случается, я должен рассказать о судьбе тридцатидвухлетнего Мак-Гарри, обитателя работного дома. Цитирую выдержки из его сообщения о себе, приведенного в годовом отчете профессионального союза:

«Я служил на заводе Сэлливена в Уиднисе, который больше известен под названием „Британский содовый завод“. В тот вечер я работал в сарае, и мне надо было пройти через заводской двор. Было десять часов, но там не горело ни одного фонаря. Иду я через двор и вдруг чувствую: чем-то зацепило мою ногу, прямо-таки отрывает ее. Не помню, что со мной было дальше, два дня я пролежал без сознания. Только в воскресенье вечером я пришел в себя и узнал, что нахожусь в больнице. „Что с моими ногами?“ — спросил я у сиделки, и она сказала, что обе ноги у меня отрезаны.

Во дворе в заторной яме работала мешалка со скоростью три оборота в минуту, но яму ничем не покрыли и не огородили. После несчастного случая со мной мешалкой перестали пользоваться и прикрыли яму листом железа. Они дали мне двадцать пять фунтов стерлингов, но не как компенсацию за увечье, а в виде пожертвования. Так мне было сказано. Из этих денег я купил себе за девять фунтов кресло на колесах.

Я потерял свои ноги на производстве. Я получал двадцать четыре шиллинга в неделю — побольше других, потому что соглашался работать в любую смену. На тяжелую работу всегда посылали меня. Управляющий мистер Мэнтон несколько раз навещал меня в больнице. Я попросил его подыскать мне работу, когда начал поправляться. Он сказал, чтоб я не беспокоился: директора, мол, не такие уж жестокосердные, так или иначе обеспечат меня. Потом мистер Мэнтон перестал приходить, а в последний раз, когда был, пообещал мне выхлопотать у дирекции пятьдесят фунтов, чтобы я мог уехать к моим друзьям в Ирландию».

Бедный Мак-Гарри! Ему платили побольше, чем другим рабочим, за его особое радение и постоянную готовность работать в любую смену. На всякую тяжелую работу посылали именно его. Но стряслась беда — и вот он в работном доме. Есть у него, впрочем, еще одна возможность: вернуться на родину в Ирландию и на всю жизнь стать обузой для друзей. Комментарии излишни.

Не надо забывать, что пригодность определяется не личными качествами рабочего, а спросом на труд. Если на одно место имеются три претендента, то работу получает один, а двое других, как бы способны они ни были, зачисляются в «непригодные». Представим себе, что Германия, Япония и Соединенные Штаты захватят мировые рынки железа, угля и текстиля, — немедленно сотни тысяч английских рабочих окажутся выброшенными за борт. Кое-кто из них эмигрирует за границу, но большинство бросится в другие отрасли промышленности и вызовет общее потрясение сверху донизу. Для установления равновесия на дно Бездны будут сброшены сотни тысяч новых «непригодных». Или, допустим, случилось другое — все рабочие увеличили производительность труда вдвое. Сразу половина их оказалась бы лишней и отнесенной к числу «непригодных», хотя каждый человек работал бы в два раза лучше прежнего и лучше многих умелых своих предшественников.

Когда работы не хватает на всех, то сколько есть лишних, незанятых рабочих, столько и будет «непригодных», обрекаемых на медленную, мучительную гибель. Я ставлю себе целью показать в следующих главах своей книги не только то, как условия работы и образ жизни губят «непригодных» рабочих, но и то, как силами современной промышленной цивилизации

непрерывно и бессмысленно создаются новые сонмы «непригодных».

Глава XVIII. Заработная плата

Иной за хлеб свою жизнь продает,
За золото душу — иной.
Кто в доме работном приют найдет,
А кто в воде речной.
У нас богачи вершат дела,
И жребий наш хорош:
В Англии подешевели тела,
А души купишь за грош.

Когда я узнал, что в Лондоне сотни тысяч семейств живут на недельный заработок в двадцать один шиллинг или еще того меньше и эта часть населения составляет 1 292 737 человек, меня заинтересовал вопрос: как же надо составить бюджет на неделю, чтобы семья могла существовать и имела силы работать? Я не стал брать семью из шести, семи или десяти человек, а взял среднюю, состоящую из отца, матери и троих детей, и записал, как там тратится 21 шиллинг, или приблизительно 5 долларов 25 центов на американские деньги.

Стоимость Стоимость

в долларах в шиллингах

Квартирная плата 1,50 6/0

Хлеб 1,00 4/0

Мясо 0,87 1/2 3/6

Овощи 0,62 1/2 2/6

Чай 0,18 0/9

Сахар 0,18 0/9

Масло 0,20 0/10

Молоко 0,12 0/6

Мыло 0,08 0/4

Уголь 0,25 1/0

Дрова 0,08 0/4

Керосин 0,16 0/8

— — — — — — — — — —

И т о г о: 5,25 21/2

Достаточно вглядеться лишь во вторую графу, чтобы понять, как мало тут места для излишеств. Один доллар (на наши деньги) в неделю на хлеб для пятерых — то есть два и шесть

седьмых цента в день на человека, — значит, меньше одного цента на раз, если человек ест три раза в день! А между тем хлеб — у них самая большая статья расхода. Мяса они получают меньше, а овощей еще меньше. Что касается остальных продуктов, то их дозы настолько микроскопичны, что не заслуживают внимания. При этом надо еще сказать, что провизия покупается понемногу, а это самый дорогой и расточительный метод ведения хозяйства.

Хотя такой бюджет исключает какие бы то ни было излишества и охраняет семью от ожирения, лишних денег тоже, как видите, не остается: двадцать один шиллинг полностью уходит на еду и квартирную плату. Ни о каких карманных деньгах не может быть и речи. Если глава семьи выпьет кружку пива — это значит, что все члены семьи получат меньше еды; а чем меньше они будут есть, тем скорее станут «непригодными». Эти люди не могут пользоваться ни омнибусом, ни трамваем; они не имеют денег даже на конверт с маркой, не говоря уж о воскресной поездке за город, посещении грошового кабаре, членстве в каком-нибудь клубе или покупке сладостей, табака, книг и газет.

Но предположим, что одному из трех ребятишек понадобились башмаки. Тогда семья на целую неделю вынуждена отказаться от мяса. А ведь у них пять пар ног, которые нужно обуть, и всем пятерым членам семейства нужно что-то надеть на голову и как-то прикрыть тело, поскольку закон преследует хождение в непристойном виде. Словом, чтобы не замерзнуть на улице и не попасть в тюрьму, приходится снова и снова жертвовать своим здоровьем. А что так оно и бывает, это факт; отбросьте квартирную плату, уголь, керосин, дрова и мыло, и на пропитание останется по четыре с половиной пенса в день на человека. Если из этих четырех с половиной пенсов еще выгадывать на одежду, то где же взять силы работать?!

Все это достаточно тяжко. Но случилось несчастье: отец сломал себе ногу или умер. И вот уже нет четырех с половиной пенсов на еду, а через неделю нечем уплатить за квартиру. Тогда путь на улицу, в работный дом или в какую-нибудь страшную лачугу, где мать будет биться из последних сил, стараясь прокормить семью на десять шиллингов, которые, может быть, ей удастся добывать.

Хотя в Лондоне 1 292 737 человек живут на заработок в двадцать один шиллинг и ниже того, мы анализировали только бюджет семьи из пяти человек. Но ведь есть семьи побольше, и есть такие, которые не располагают двадцатью одним шиллингом, а многие и вовсе не имеют постоянной работы. Естественно задать вопрос: как же живут те? На это можно ответить лишь одно: они не живут. Им неведомо, что такое жизнь. Они влачат полуживотное существование, пока над ними не смилуется смерть.

Прежде чем заглянуть в самые глубины нищеты, рассмотрим положение телефонисток. Для этих чистых, свежих английских девушек требуется более высокий уровень жизни, не такой скотский, иначе не сохранить им своей свежести и чистоты, этим молодым английским девушкам. Поступая работать на телефонную станцию, они получают для начала одиннадцать шиллингов в неделю. При уме и расторопности такая девушка может лет через пять дослужиться до фунта стерлингов в неделю. Недавно лорду Лоидондерри был представлен следующий расчет еженедельных затрат рядовой телефонистки:

Квартирная плата, топливо и освещение шиллингов 7/6

Питание дома » 3/6

Питание на работе » 4/6

Проезд » 1/6

Стирка белья » 1/0

— — — — — — — — — — — — — — — — — —

И т о г о: 18/0

Итак, ни на одежду, ни на театр, ни на лекарство в случае болезни не остается ничего. К тому же многие из этих девушек получают не восемнадцать шиллингов, а четырнадцать, двенадцать и даже одиннадцать шиллингов в неделю! Но им ведь необходимо одеваться и хочется хоть немножко развлечься, а…

Мужчина с мужчиной часто жесток,

А с женщиной — неизменно.

На конгрессе профсоюзов, заседающем в настоящее время в Лондоне, союз рабочих газовых заводов внес предложение обратиться в парламент с требованием издать закон, запрещающий наемный труд детей моложе пятнадцати лет. Против этой резолюции выступил представитель объединения ткачей северных графств, член парламента Шаклтон; он заявил, что при существующих ставках ткачи не могут сводить концы с концами без заработка детей. За резолюцию голосовали представители пятисот тридцати пяти тысяч рабочих, против — представители пятисот четырнадцати тысяч. Если полмиллиона рабочих протестуют против запрещения детского труда, это говорит о том, какое огромное количество взрослых рабочих не обеспечено прожиточным минимумом.

Я беседовал в Уайтчепеле с женщинами, которые шьют пиджаки в потогонных мастерских, зарабатывая менее одного шиллинга за двенадцатичасовой рабочий день, и с женщинами, которые подшивают брюки, получая за это «по-царски» — от трех до четырех шиллингов в неделю.

Недавно промелькнуло сообщение об одном богатом торговом доме, который платит своим рабочим шесть шиллингов (со столом) за шесть шестнадцатичасовых рабочих дней. «Человек-реклама» зарабатывает четырнадцать пенсов в день, и этого должно ему хватить на все. Средний недельный заработок уличного торговца от силы десять — двенадцать шиллингов. Рабочие средней квалификации всех профессий, за исключением портовых грузчиков, получают меньше шестнадцати шиллингов в неделю, а грузчики — от восьми до девяти шиллингов. Цифры эти точные, они почерпнуты мною из отчета королевской комиссии.

Представьте себе такое: больная, умирающая старуха содержит себя и четверых детей (и платит три шиллинга в неделю за квартиру) тем, что клеит коробки для спичек по два с четвертью пенса за гросс. Два с четвертью пенса за двенадцать дюжин коробок, да еще покупай за свой счет клей и шпагат для увязки! Эта женщина никогда, ни на один день не прекращала работы — ни по болезни, ни ради отдыха или развлечения. Каждый день, включая воскресенье, она работает по четырнадцать часов, дабы выполнить норму — семь гроссов, — за что ей платят один шиллинг три и три четверти пенса. Стало быть, ее рабочая неделя — девяносто восемь часов, нормы труда — семь тысяч шестьдесят шесть спичечных коробок и заработок — восемь шиллингов десять с четвертью пенсов, за вычетом стоимости клея и шпагата.

Некто Томас Холмс, пользующийся известностью священник при полицейском суде, получил в прошлом году в качестве отклика на свою статью о положении женщин-работниц следующее письмо:

«Сэр! Простите мою смелость, но, прочитав то, что вы пишете о бедных женщинах, работающих по четырнадцать часов в день за десять шиллингов в неделю, я хотела бы сообщить вам о своем положении. Я шью галстуки и за целую неделю получаю не больше пяти шиллингов, а у меня на руках больной муж, которого я должна кормить, так как сам он уже десять лет ничего не зарабатывает».

Понимаете? Женщина, способная написать такое толковое, грамотное письмо, живет вдвоем с мужем на пять шиллингов в неделю! М-р Холмс побывал у нее. Он с трудом мог протиснуться в ее комнатушку, где на кровати лежал больной муж и где целыми днями работала она. Тут же они ели, мылись и спали. Кровать больного оказалась единственным местом, где мистер Холмс мог присесть, да и та была завалена кусками шелка и галстуками. Больной находился в последней стадии туберкулеза; он непрерывно кашлял, отхаркивая мокроту, и жене приходилось то и дело отрываться от работы и подбегать к нему. Шелковая пыль от галстуков попадала ему в легкие, а зараза из его легких попадала на галстуки. Нельзя сказать, что это очень полезно для тех, кто будет торговать этими галстуками или носить их.

М-р Холмс посетил еще один дом, где живет двенадцатилетняя девочка, которую судили за кражу чего-то съестного. Оказалось, что эта девочка заменяет мать двум братьям — девяти и семи лет (второй — калека) — и маленькой сестренке, а мать их, вдова-белошвейка, не разгибая спины, работает целый день. Она платит пять шиллингов в неделю за комнату. Вот запись ее последних хозяйственных расходов: чаю на полпенса, сахару на полпенса, хлеба на четверть пенса, маргарина на один пенс, керосина на полтора пенса, дров на полпенса. Милые, добрые хозяюшки, представьте себе, что это вы ходите за покупками и должны прокормить на такие гроши семью из пяти душ да еще следить за двенадцатилетней «мамой», как бы она не стащила чего-нибудь для своих подопечных малышей, пока вы все шьете и шьете бесконечные блузки, и этими блузками устилается дорога во мрак — туда, где ждет вас зияющая яма нищенской могилы!

Глава XIX. Гетто

Можно ль славить наше время? Чем оправдана хвала,
Если в городской клоаке гибнут души и тела?
Там, в извилистых проулках, в царстве рабского труда,
Женщин гонят на панели преступленье и нужда,
Там людская жизнь проходит в тесноте и темноте,
Там хозяин отнимает хлеб последний у детей,
Там гнилая лихорадка по сырой ползет стене,
И с живым в одной постели спит мертвец, окостенев.

Теннисон[32]

Было время, когда европейские нации обрекали нежеланных им евреев на жизнь в городских гетто. Сегодня господствующий класс при помощи менее грубых, но не менее жестоких средств обрекает нежеланных и все же необходимых ему рабочих на существование в гетто, поражающем своими гигантскими масштабами и невообразимо чудовищными условиями жизни. Восточный Лондон — не что иное, как гетто. Богатые и могущественные не обитают в подобных местах, туда не забредает случайный путешественник, там, сбившись в кучу, живут, плодятся и умирают два миллиона рабочих.

Не следует думать, что все рабочее население Лондона ютится на Восточной стороне; впрочем, дело явно идет к тому. В основной части города бедные кварталы один за другим

уничтожаются, и лишившиеся крова перекочевывают главным образом на Восточную сторону. Только за последние двенадцать лет в одном из восточных районов, по ту сторону Олдгейта, Уайтчепела и Майл-Энда, число жителей увеличилось на двести шестьдесят тысяч, то есть больше, чем на шестьдесят процентов. Кстати сказать, церкви в этом районе в состоянии вместить лишь одного молящегося из каждых тридцати семи «новоселов».

«Город убийственной монотонности» — так отзываются о Восточном Лондоне многие, в особенности упитанные, оптимистически настроенные, праздношатающиеся туристы, поражаясь однообразию и убожеству здешних мест. Было бы еще полбеды, если бы Восточный Лондон характеризовала только «убийственная монотонность», коль скоро рабочие не заслуживают, видно, красоты и многообразия впечатлений. Но Восточный Лондон достоин худшего наименования. Его следует назвать «городом деградации».

Некоторые думают, что Восточный Лондон состоит из одних только трущоб. Это не так, хотя и не будет ошибкой сказать, что в целом Восточный Лондон — одна гигантская трущоба. В отношении элементарной пристойности и общепринятой нравственности любая из его ужасных улиц — трущоба. Если там можно увидеть и услышать такое, что не полезно видеть и слышать моему или вашему ребенку, то это также не полезно и другим детям. Если моей жене или вашей жене не подобает жить в подобных условиях, то это в равной мере не подобает и женам других людей. Ибо на Восточной стороне все грубое, все непристойное цветет пышным цветом. Здесь нет ничего интимного. Дурные портят хороших и разлагаются вместе. Казалось бы, что может быть милее и прекраснее младенческой невинности? Но в Восточном Лондоне невинность улетучивается так быстро, что за младенцем в колыбели надо смотреть в оба, не то, начав ползать, он уже окажется посвященным во все дела житейские не меньше нас, грешных.

Следуя Золотому правилу из Евангелия, нельзя никого заставлять жить в Восточном Лондоне. Вы считаете неподходящим для вашего ребенка расти, развиваться и набираться житейского опыта в таких местах? Значит, это неподходящее место и для ребенка других родителей расти, развиваться и набираться житейского опыта. Золотое правило — очень простая вещь, и если следовать ему, то больше ничего не требуется. К черту политическую экономию и теорию естественного отбора, если там это трактуется по-иному. Я говорю: то, что вредно для меня, столь же вредно для других. И точка.

Десятки тысяч семей в Лондоне, общим числом триста тысяч человек, занимают по одной комнате. Семей, живущих в двух-трех комнатах, еще больше, но у них так же тесно, и они так же сбиты все в одну кучу, без различия пола и возраста, как и те, кто ютится в одной комнате. По закону требуется одиннадцать кубических метров на человека, в казармах на солдата отводится в полтора раза больше, а вот профессор Хаксли, в прошлом видный деятель здравоохранения Восточного Лондона, настаивал, что норма на каждого должна быть около двадцати кубических метров, при наличии хорошей вентиляции. Тем не менее девятьсот тысяч человек из числа живущих в Лондоне не имеют минимальных одиннадцати.

По данным Чарльза Бута, в течение многих лет занимающегося экономическими исследованиями быта трудового населения Лондона, в этом городе миллион восемьсот тысяч бедных и очень бедных жителей. Любопытно отметить, что бедными он называет те семьи, которые живут на заработок от восемнадцати до двадцати одного шиллинга в неделю, а очень бедными — семьи, не имеющие даже такого заработка.

Капиталисты все с большим рвением изолируют рабочих как класс и все больше принуждают их жить в чудовищной тесноте, впритык друг к другу, что порождает не столько безнравственность, сколько полную аморальность. Привожу выдержку из протокола недавнего заседания совета лондонского графства, сухую и сжатую, в которой между строк можно

прочесть немало страшного.

«М-р Брус задал вопрос председателю комиссии по народному здравоохранению: известны ли ему факты, свидетельствующие о чрезвычайной скученности населения на Восточной стороне. В Восточном Сент-Джордже отец, мать и восьмеро детей: дочери — двадцати, семнадцати, восьми, четырех лет и самая младшая грудного возраста, и сыновья — пятнадцатилетний, тринадцатилетний и двенадцатилетний, — проживают все в одной маленькой комнате. В Уайтчепеле муж, жена, три дочери — шестнадцати, восьми и четырех лет, и два сына — двенадцати и десяти лет — занимают одну комнату еще меньших размеров. В Бетнал-Грине в одной каморке ютится семья из восьми человек: отец, мать, четыре сына — двадцати трех лет, двадцати одного года, девятнадцати и шестнадцати лет — и две дочери — четырнадцати и семи лет. М-р Брус спросил, не считают ли местные власти своим долгом бороться с такой непомерной скученностью».

Когда девятьсот тысяч человек живут фактически в условиях, запрещаемых законом, для властей это, конечно, тоже изрядная морока. Например, выселяют жителей из битком набитого дома, и те перебираются в другую берлогу; переезд обычно совершается ночью (на ручной тележке умещается весь домашний скарб и спящие дети), и власти почти неизбежно теряют их след. Если бы власти вдруг решили полностью выполнить закон 1891 года о народном здравоохранении, то пришлось бы выселить девятьсот тысяч человек прямо на улицу, и чтобы водворить их опять под крышу, потребовалось бы построить пятьсот тысяч комнат.

На первый взгляд эти скверные, грязные улицы кажутся просто-напросто скверными, грязными улицами. Но загляните в дома — и вам откроются неслыханные нищета, убожество и трагедии.

Следующий факт, возможно, вызовет у читателя отвращение, но еще отвратительнее то, что такой факт мог произойти. На Девоншайр-плейс недавно скончалась старуха семидесяти пяти лет. Представитель следственных органов заявил, что все имущество покойной состояло из кучи тряпья, усеянного насекомыми. Пока следователь находился в комнате, вши переползли и на него. Никогда еще он не видел ничего подобного: решительно все в комнате было усеяно вшами.

По свидетельству врача, покойная лежала в одной рубашке и чулках на поваленной решетке камина. Тело ее кишело вшами, и вся одежда, какая была в комнате, казалась серой от насекомых. Осмотр тела выявил предельное физическое истощение покойной. Ноги ее были покрыты язвами от укусов, и чулки прилипли к язвам.

Другой свидетель заявил следующее: «Я имел несчастье видеть труп бедной женщины в морге и до сих пор не могу без содрогания вспомнить это страшное зрелище. Она лежала в мертвецкой худая, как щепка, — кости да кожа. Волосы на голове свалялись, как войлок, и в них гнездилось несметное количество насекомых. По костлявой груди ползали сотни, тысячи, мириады вшей».

Я не желал бы такой смерти своей матери, а вы — своей, так не будем желать ее другим матерям тоже.

Священник Уилкинсон, побывавший в Зулуленде, недавно писал: «Никогда бы вождь африканского племени не разрешил столь непристойного смешения полов: молодых мужчин и женщин, мальчиков и девочек». Он имел в виду детей гетто, которые спят вповалку со взрослыми и уже в пятилетнем возрасте знают такое, чего им лучше бы не знать, но только

уже поздно их переучивать.

Общеизвестно и позорно то, что дома в гетто, населенные бедняками, приносят владельцам больше дохода, чем барские особняки. Мало того, что бедняк-рабочий вынужден жить в скотских условиях, он еще должен платить за свою конуру относительно более высокую плату, нежели богач за просторные апартаменты. Существует целая категория людей, выгодно эксплуатирующих трущобы — ведь для всех нуждающихся не хватает жилья и бедняки берут его с боя, а многие вынуждены волей-неволей идти в работный дом. В аренду сдается все: дома, квартиры, комнаты и углы.

«Сдается часть комнаты» — такое объявление я видел недавно в окне дома в пяти минутах ходьбы от Сент-Джеймс-Холла[33]. Священник Хью Хьюз утверждает, что койки сдаются на основе трехсменной системы. Это значит, что на одну койку приходится по три жильца; каждый из них занимает ее восемь часов, — постель не успевает остыть. На три смены сдается даже пол под койкой. Санитарные инспектора нередко обнаруживают такую картину: в комнате объемом в двадцать восемь кубических метров спят на одной кровати три женщины, а на полу под кроватью — еще две. В другой комнате в сорок девять кубических метров на кровати спит мужчина с двумя детьми, а под кроватью — две женщины.

А вот типичный образец более «респектабельного», двухсменного, пользования комнатой: днем ее занимает молодая женщина, работающая по ночам в гостинице, а с семи часов вечера, когда она уходит на работу, и до семи утра в комнате располагается рабочий-каменщик.

У. Дайвис, настоятель храма Христа в Спайтелфилдзе, произвел перепись населения некоторых улиц своего прихода, и вот что он отметил:

«В одном переулке десять домов, и в них пятьдесят одна комната; все одинаковой площади, все крошечные. Общее число жильцов — двести пятьдесят четыре человека. Но по двое живут только в шести комнатах, в остальных помещается от трех до девяти человек. В соседнем переулке шесть домов, в них двадцать две комнаты и восемьдесят четыре жильца, причем в некоторых из комнат проживают по шесть, восемь и девять человек. В одном доме на восемь комнат приходится сорок пять жильцов: девять в одной, восемь в другой, по семи в третьей и четвертой и шесть в пятой».

Гетто перенаселено не потому, что людям нравится так жить, а потому, что у них нет другого выхода. Почти половина рабочих платит за квартиру от двадцати пяти до пятидесяти процентов своего заработка. Средняя квартирная плата за комнату в Восточном Лондоне колеблется от четырех до шести шиллингов в неделю. Квалифицированный рабочий из своего заработка в тридцать пять шиллингов отдает домохозяину пятнадцать шиллингов за две крохотные клетушки, прилагая отчаянные усилия к тому, чтобы поддержать некое подобие семейной жизни. При этом квартирная плата непрерывно растет. На одной из улиц в Степни только за два года плата за жилище возросла с тринадцати до восемнадцати шиллингов, на другой улице — с одиннадцати до шестнадцати, на третьей — с одиннадцати до пятнадцати, а в Уайтчепеле, где прежде за домик из двух комнат брали десять шиллингов, теперь берут двадцать один. На востоке, западе, севере к юге Лондона квартирная плата неуклонно ползет вверх. Когда акр земли ценится от двадцати до тридцати тысяч фунтов стерлингов, кто-то должен возмещать расходы домовладельцу!

Член палаты общин У. Стедмен, выступая по поводу положения своих избирателей района Степни, заявил следующее:

«Сегодня утром меня остановила возле моего дома некая вдова. У нее шестеро детей, их надо

кормить. Она арендует домик за четырнадцать шиллингов в неделю и в свою очередь сдает углы. Кроме того, занимается поденной стиркой и уборкой. Она с плачем рассказала мне, что домовладелец увеличил квартирную плату до восемнадцати шиллингов. Что ей остается делать? Свободных домов в районе Степни нет: каждый угол занят, все переполнено».

Господство одного класса зиждется на вырождении другого; когда рабочие согнаны в гетто, им трудно избежать процесса вырождения. В гетто вырастает низкорослое, физически недоразвитое, слабовольное племя, резко отличающееся от племени хозяев. Мужчина здесь — это какая-то карикатура на физически здорового человека. А женщины? А дети? Они бледны и малокровны, сутулы и кривобоки, под глазами пролегли глубокие тени. Все женственно привлекательное гибнет здесь, не успев расцвесть.

Хуже всего то, что только такие и остались в гетто — вырождающееся племя, которому предстоит дальнейшее вырождение. Уже полтора столетия, не меньше, истощаются людские резервы. Сильные, мужественные, инициативные, предприимчивые люди уезжали в новые, более свободные страны, строили новые государства, создавали новые нации. Те, кто не обладал этими качествами, — люди слабовольные, неспособные, неумелые или безнадежно больные и отчаявшиеся, — оставались в Англии продолжать род. Но и дальше, из года в год, все, что они производили лучшего, отнималось у них: стоит юноше подняться здоровым и рослым, как его немедленно призывают в армию. По словам Бернарда Шоу, солдат — «это якобы героический, полный патриотических чувств защитник родины, а на самом деле — горемыка, которого нищета заставила за дневной паек, крышу над головой и одежду продаться в качестве пушечного мяса».

Этот постоянный отсев всего лучшего, что родится в рабочей среде, истощил породу, а самые жалкие ее остатки опускаются в гетто на «дно». Лучшие жизненные соки высосаны и впрыснуты в кровь новых поколений в далеких заморских странах. В гетто остаются деклассированные элементы; их изолируют и предоставляют своей судьбе, и они теряют облик человеческий. Если они совершают убийства, то, убив, тупо отдают себя в руки палачей. Они грешат, не дерзая. Такой пырнет тупым ножом приятеля или размозжит ему голову чугунным горшком, а потом усядется ждать полицию. Бить жену — привилегия мужчины, которую дает ему брак. Мужчины носят здесь удивительные сапоги, подбитые железными гвоздями. Украсив мать своих детей синяком под глазом, супруг валит ее на землю и топчет подковами, как техасский жеребец топчет гремучую змею.

Женщина из беднейших слоев гетто — такая же рабыня мужа, как индейская скво. И лично я, на месте такой женщины, предпочел бы быть индейской скво. Мужчины находятся в экономической зависимости от своих хозяев, женщины — от своих мужей. В результате кулачная расправа, которую по справедливости заслужил хозяин, выпадает на долю жены. А она беспомощна: муж — кормилец семьи, и у них дети, — не сажать же его в тюрьму, чтобы самой с детьми помереть с голоду! При разборе в суде дела о рукоприкладстве почти невозможно бывает получить доказательства, которые позволили бы вынести приговор виновному: обычно пострадавшая от мужниных кулаков жена, истерически рыдая, молит судью отпустить ее мужа на свободу — ради детей.

Жены становятся сущими ведьмами или по-собачьи покорными, утрачивают самоуважение и те скудные понятия о приличиях, которые они имели во времена девичества, и все вместе, и мужчины и женщины, безотчетно погружаются глубже и глубже в трясину.

Иногда я пугаюсь собственных обобщений относительно массовой нищеты в гетто и начинаю обвинять себя в преувеличении, боясь, что стою слишком близко от изображаемого предмета и мне не хватает перспективы. В такие минуты я нахожу полезным прибегнуть к свидетельству

других людей для подтверждения того, что нервы у меня в порядке и голова на месте. Фредерик Гаррисон[34] всегда производил на меня впечатление разумного, уравновешенного человека, однако вот что пишет он:

«Для меня, во всяком случае, есть достаточно оснований сказать, что современный общественный строй едва ли представляет шаг вперед по сравнению с рабовладельческим или крепостным строем, если навсегда сохранится то положение, которое мы наблюдаем; девяносто процентов фактических производителей материальных благ владеют правом на свой угол только до конца недели, у них нет ни клочка земли, ни даже собственной комнаты и никаких ценностей вообще, за исключением домашнего хлама, целиком умещающегося на одной ручной тележке; они не уверены даже в своем скудном недельном заработке, которого едва хватает, чтобы поддержать душу в теле; они живут чаще всего в таких местах, где хороший хозяин не стал бы держать лошадь; они никак не застрахованы от нужды, ибо один месяц безработицы, болезни или любое другое несчастье приводит их на грань голода и нищеты… Если такое положение есть норма для рядового рабочего города и деревни, то еще хуже приходится огромной массе отщепенцев — безработных, этому резерву промышленной армии, составляющему минимум одну десятую часть всего пролетариата; для этих людей нормальное положение — полная обездоленность. Если такое устройство современного общества закрепится навсегда, мы должны будем признать, что цивилизация несет проклятие огромному большинству человечества».

Девяносто процентов! Страшное дело! Однако священник Стопфорд Брук, рисующий ужасную картину жизни одной лондонской семьи, считает необходимым помножить ее на полмиллиона. Цитирую Брука:

«В бытность мою помощником приходского священника в Кенсингтоне я часто видел, как люди целыми семьями двигались в Лондон по Хаммерсмит-роуд. Я познакомился с одной из таких семей, состоящей из отца-рабочего, матери, сына и двух дочерей. Долгое время они жили в деревне, работали в чьем-то имении и кое-как кормились благодаря тому, что существовал общественный выгон. Но потом общественный выгон был ликвидирован, владелец имения перестал нуждаться в их услугах, и их преспокойно выселили из дома. Куда идти? В Лондон, разумеется, где, как они полагали, работы хватает на всех. Им удалось сберечь немного денег, и они надеялись снять две приличные комнаты. Но в Лондоне перед ними встал неумолимый жилищный вопрос: две комнаты в мало-мальски благоустроенном доме стоили десять шиллингов в неделю. Продукты в городе были дорогие и плохого качества, питьевая вода скверная. Все это очень быстро сказалось на здоровье приезжих. Работу найти было трудно, платили мало, — и скоро появились долги. Отвратительные жилищные условия — грязь и темнота — и нескончаемая работа все больше подрывали их здоровье и сломили дух. Вскоре пришлось искать квартиру подешевле. Сняли одну комнату, тоже за безбожную цену, и очутились в самой настоящей клоаке. Мне это место хорошо знакомо. С таким адресом им стало еще труднее находить работу, и они попали в лапы людей, которые за гроши тянут из рабочих последние соки, не считаясь с тем, мужчина это, женщина или ребенок. На новом месте было еще темнее и грязнее, пища и вода еще хуже, и здоровье их все убывало, а дурная среда лишала последних остатков человеческого достоинства. Зеленый змий одолевал их. Само собой разумеется, что на каждом углу этой улицы было по кабаку. Туда и устремлялись эти несчастные — согреться, побыть среди людей, забыть на время свое горе. Оттуда они выходили отягощенные новыми долгами, с отуманенной головой, готовые ради выпивки на все. И не прошло и нескольких месяцев, как отец попал в тюрьму, мать слегла, чтобы больше не встать, сын сделался преступником, а дочки пошли по рукам. Помножьте этот случай на полмиллиона, и тогда вы начнете только добираться до истины».

На всем свете нельзя найти более мрачного зрелища, чем этот «ужасный Восточный Лондон» с его районами Уайтчепел, Хокстон, Спайтелфилдз, Бетнал-Грин и Уоппинг до Ост-индских доков. Жизненные краски здесь серые, тусклые. Вокруг — бедность, безнадежность, уныние, грязь. Ванны никто никогда и в глаза не видел, — обитателям Восточного Лондона это представляется каким-то мифом о наслаждениях, которыми пользовались боги. Народ живет в грязи, а если кто и делает жалкие попытки поддерживать чистоту, то это выглядит и смешно и трагично. Даже воздух здесь какой-то грязный, насыщенный гадкими запахами, и дождь больше похож на грязь, чем на чистую воду с неба. Каменные мостовые заросли грязью. Словом, кругом грязь без конца и края, и смыть ее может только извержение вулкана Пеле или Везувия.

Унылы и однообразны бесконечные мили кирпичных домов, и так же унылы и однообразны люди. Религия, по существу, обошла их стороной, и они с головой погрязли в земном, в грубом и пошлом, губительном для духа и возвышенных чувств.

Когда-то англичане любили похваляться: «Мой дом — моя крепость». Сегодня эти слова звучат анахронизмом. У жителей гетто нет дома. Они не знают, что такое семейный очаг, и потому не чтут его святости. Даже муниципальные дома, где живут квалифицированные рабочие, это лишь густонаселенные казармы. Здесь и не пахнет семейным очагом, что, кстати, проявляется даже в их лексиконе: например, отец, вернувшийся с работы, спрашивает на улице свою девочку, где мать, и та отвечает: «Мама в помещении».

Образовалась новая порода людей — люди улицы. Вся их жизнь проходит или на работе, или на улице. У них есть какие-то крысиные норы, куда можно заползти, чтобы переночевать, — и ничего больше. Мы не вправе оскорблять наш язык, называя подобную нору домом. Традиционный сдержанный, молчаливый англичанин исчез. Люди улицы шумны, крикливы, нервны, взвинчены, — я имею в виду молодых. Те, кто постарше, выглядят угрюмыми, отупевшими от пива. Когда они не заняты, они часто стоят, уставясь в одну точку, точно жующие жвачку коровы. Таких можно встретить на любой улице — они стоят и тупо смотрят перед собой. Последите за любым из них, и вы увидите, что он способен часами не двигаться с места и после вашего ухода будет стоять все так же неподвижно, вперив пустой взгляд в пространство, точно завороженный. На пиво у него нет денег; в свою нору он забирается, только чтобы поспать. Куда же деваться? Он уже знает цену всему — и девичьей любви, и любви жены, и любви ребенка. По его мнению, все это притворство и обман и испаряется, как роса, бесследно исчезает под напором суровой жизненной правды.

Повторяю: молодые нервны, взвинчены и легко возбудимы; пожилые тупы, неповоротливы, флегматичны. Нелепо даже на миг предположить, что эти люди в состоянии конкурировать с рабочими Нового Света. Доведенные до нечеловеческого состояния, опустившиеся и отупевшие обитатели гетто не смогут быть полезными Англии в ее борьбе за мировое господство в области промышленности, в борьбе, которая, по свидетельству экономистов, уже началась. Они не сумеют достойным образом проявить себя ни в качестве рабочих, ни в качестве солдат, когда Англия в нужде обратится к ним, своим забытым сыновьям. А если положение их родины в мире индустрии пошатнется, они погибнут, как осенние мухи. Или же, когда дела Англии примут скверный оборот, то обитатели гетто, доведенные до полного отчаяния, могут стать опасными: толпами ринутся они на Западную сторону, чтобы отомстить за все беды, причиненные ею жителям Восточной стороны. В этом случае под огнем скорострельных пушек и прочих современных средств ведения войны они погибнут еще быстрее и проще.

Глава XX. Кофейни и ночлежные дома

Во имя чего должны мы жить, как
сельди в бочке?

Роберт Блэтчфорд

Еще одно понятие сверкнуло и кануло в Лету, лишившись своей литературной, овеянной романтикой традиции и всего того, что делает иные слова дорогими нашему сердцу! Отныне слово «кофейня» будет порождать во мне самые неприятные ощущения. Там, за океаном, одного этого слова было достаточно, чтобы вызвать в памяти множество исторических персонажей — завсегдатаев кофеен — денди и острословов, памфлетистов и наемных бандитов и, разумеется, нищей богемы лондонской Граб-стрит.

Но здесь, на месте, — увы! — само название бессмысленно. Кофейня — место, где люди пьют кофе. Неверно. Вы не раздобудете там кофе ни за какие блага. Правда, по вашему заказу принесут какую-то бурду, именуемую кофе, но, отхлебнув глоток, вы с разочарованием убедитесь, что это отнюдь не то, чего вы ждали.

И кофе не кофе, и кофейни не кофейни. Это грязные «обжорки», посещаемые главным образом рабочим людом, и тот, кто пришел сюда закусить, не может после этого уважать себя. О скатертях и салфетках здесь и не слыхивали; на обеденных столах навалена грязная посуда с чужими объедками; чтобы очистить тарелку или кружку, содержимое вываливают прямо на стол или на пол. В дневные часы, когда там особенно людно, я буквально утопал в скользких помоях и если умудрялся проглотить кусок в такой обстановке, то лишь потому, что был зверски голоден и способен съесть что угодно.

Рабочий человек к этому, по-видимому, привык и недовольства не выражает: еда — необходимость, какие там еще для нее украшения! Он приходит, ест с жадностью троглодита и уходит, я полагаю, только раздразнив аппетит. Когда вы видите, что человек по пути на работу заказывает кружку водицы, именуемой чаем и столь же похожей на чай, как на амброзию, и запивает ею вытащенный из кармана ломоть черствого хлеба, будьте уверены, что после такого завтрака он много не наработает. И, разумеется, ни он, ни тысяча его собратьев не смогут дать столько продукции хорошего качества, сколько дают те люди, которые плотно позавтракали добрым куском мяса с картофелем и выпили настоящего кофе.

Кружка чаю, кусок копченой сельди и два ломтика хлеба с маслом считаются для лондонского рабочего роскошным завтраком. Не было случая, чтобы хоть кто-нибудь заказал при мне в кофейне порцию мяса за пять-шесть пенсов (самая дешевая цена), а когда я требовал себе бифштекс, то каждый раз должен был дожидаться, пока хозяин кофейни пошлет в мясную лавку за куском мяса.

Посаженный в калифорнийскую тюрьму, куда я попал за бродяжничество, я получал лучшую пищу, чем та, которую подают лондонскому рабочему в кофейнях; а когда я был в Америке рабочим, то за двенадцать пенсов ел такой завтрак, какой британскому рабочему и не снился. Правда, его завтрак обходится только в три-четыре пенса, но соотношение одинаковое, ибо он зарабатывает два — два с половиной шиллинга, а мне платили шесть. Зато я и делал за рабочий день куда больше, чем он. Вот вам обе стороны медали. Человек, материально лучше обеспеченный, всегда работает производительнее того, чей материальный уровень низок.

Моряки говорят, что между службой в английском торговом флоте и в американском существует вот какая разница: на английских пароходах дрянная кормежка, ничтожная плата,

но работа легкая. На американских же кормежка хорошая и плата хорошая, зато заставляют много работать. То же самое можно сказать и вообще о положении рабочего люда обеих стран. Чтобы машины на океанском пароходе производили энергию, им необходимо топливо. С рабочим такая же картина. А если ему не на что приобретать питание, тогда у него не будет энергии, вот и все. Обратный пример: английский рабочий приезжает в Соединенные Штаты. Уже в Нью-Йорке он укладывает больше кирпичей, чем в Лондоне, в Сент-Луисе еще больше, а в Сан-Франциско больше, чем в Сент-Луисе[35]. Это потому, что уровень его жизни все время соответственно повышается.

По утрам, когда люди спешат на работу, на уличных тротуарах сидят торговки, которые выносят в мешках хлеб на продажу. Почти все рабочие покупают этот хлеб и едят тут же, всухомятку, даже не заходя в кофейню, чтобы запить его чаем по пенни за кружку. Ясно, что при таком питании человек будет работать плохо, ясно также и то, что его наниматель — и вся нация заодно — потерпят убыток. Уже давно политические деятели кричат: «Англия, пробудись!» Право, они проявили бы больше здравого смысла, если бы изменили свой клич на «Англия, поешь досыта!»

Мало того, что пища рабочих плохая, — она еще и грязная. Я стоял возле мясной лавки, где толпились озабоченные домашние хозяйки, и наблюдал, как они рылись в куче жалких обрезков говядины и баранины, какие в Америке покупают для собак. Не буду ручаться за чистоту рук этих женщин, как не буду ручаться за чистоту их жалких жилищ, а меж тем они перебрасывали мясо руками, поворачивали его так и этак, придирчиво рассматривая и прикидывая, как повыгоднее истратить свои медяки. Я видел, что один наиболее отвратительный кусок побывал по крайней мере в двадцати руках, покуда мясник не всучил его маленькой робкой женщине. Так продолжалось до вечера: вместо проданных обрезков добавлялись новые, уличная пыль оседала на мясе, по нему ползали мухи, и множество грязных рук шарило и шарило в этой куче.

На тележках торгуют битыми и гнилыми фруктами; очень часто торговцы хранят товар ночью у себя в комнатах, где спят целой семьей, дышат, потеют, плюют, заражая фрукты всевозможными бациллами, а наутро опять выносят их на продажу.

Бедняк-рабочий Восточного Лондона не знает вкуса свежего мяса или свежих фруктов, да и вообще-то мясо и фрукты почти для него недоступны. Даже квалифицированный рабочий не может похвастать своим столом. Если судить по тому, что едят в кофейнях, — а это довольно показательно, — английский рабочий не имеет представления о настоящем кофе, чае, какао. Помои и бурда, подаваемые в кофейнях, могут еще кое-как отличаться по качеству в разных местах, но они даже отдаленно не напоминают того, что мы с вами привыкли называть кофе или чаем.

Вспоминается мне такой случай в кофейне неподалеку от Джюбили-стрит, на Майл-Энд-роуд.

— Дашь мне, доченька, чего-нибудь вот на эти деньги? Давай, что хочешь, мне все равно, — с утра еще крошки во рту не было, сил больше нет.

То говорила старуха, облаченная в опрятное черное старье. «Доченька», которой она протягивала монетку в один пенс, была хозяйка кофейни, она же и подавальщица, — изможденная женщина лет сорока.

Я ждал ответа хозяйки, волнуясь не меньше, пожалуй, чем старуха. Было четыре часа дня. Посетительница, казалось, вот-вот упадет от слабости. После минутного колебания хозяйка пошла на кухню и принесла порцию «рагу из барашка с молодым зеленым горошком». В тот

момент я сам ел такое же блюдо, но у меня сложилось впечатление, что барашек окончил земное существование довольно-таки старым бараном, а горох, будь он даже помельче и помягче, все равно не оправдал бы названия «молодой». Но не в этом дело; блюдо это стоило шесть пенсов, а хозяйка взяла со старухи один пенс, лишний раз доказав извечную истину, что бедняки — самые щедрые люди на свете.

Старуха, рассыпаясь в благодарностях, присела напротив меня за маленький столик и принялась жадно поглощать горячее рагу. Оба мы молча, энергично ели. Вдруг она громко и весело воскликнула, обращаясь ко мне:

— Я продала коробку спичек! Да! — Радость просто бурлила в ней. — Я продала коробку спичек! Вот и заработала пенни!

— Вам уж, видно, порядочно лет? — высказал я предположение.

— Семьдесят четыре стукнуло вчера, — ответила она и снова склонилась над своей тарелкой.

— Эх, дьявол, я бы рад помочь старушке, да, поверишь ли, сам до сих пор не ел сегодня, — сказал парень, сидевший рядом. — Вот сейчас только случайно подработал шиллинг: черт знает сколько горшков заставили меня за это перемыть.

— Я уже шесть недель не работаю по своему делу, — ответил он на мои расспросы. — Время от времени попадается работа, да редко, очень редко.

Чего только не насмотришься в этих кофейнях! Я никогда не забуду воинственную официантку из кофейни близ Трафальгарской площади; я дал ей золотой соверен, чтобы расплатиться по счету. Кстати, в кофейнях полагается платить вперед, а уж для плохо одетых это правило совершенно обязательно!

Официантка попробовала монету на зуб, звякнула ею о стойку, потом окинула испепеляющим взглядом меня и мой оборванный костюм и, наконец, спросила:

— Где ты ее взял?

— Какой-то тип забыл на столе. Что, не верите?

Она посмотрела мне прямо в глаза.

— Ври больше!

— Ну, тогда я сам их делаю, — сказал я.

Она презрительно фыркнула и сдала мне одной мелочью, а я в отместку ей пробовал на зуб и на звук каждую серебряную монетку.

— Прибавьте кусок сахару в чай, я заплачу вам еще полпенни, — попросил я.

— Раньше ты издохнешь, — последовал любезный ответ, который она подкрепила выразительными, непристойными жестами.

Я никогда не был находчив и скор на язык, но тут почувствовал, что сражен окончательно, и кое-как, не помня себя от обиды, проглотил свой чай, а она продолжала злобствовать даже тогда, когда я уже выскочил на улицу.

Как уже говорилось, триста тысяч человек в Лондоне живут семьями в одной комнате, а девятьсот тысяч прозябают в отчаянных условиях, запрещаемых законом. Но есть еще один вид жилья для бедных — это частные ночлежные дома, и за ними числится еще тридцать восемь тысяч лондонцев. Таких заведений здесь множество — от маленьких, тонущих в грязи хибарок до предприятий-гигантов, приносящих пять процентов дохода и расхваливаемых самодовольными буржуа на все лады (хотя сами они никогда там не бывали). Но все они одинаково непригодны для человека. Не то чтобы там протекали крыши или дуло в окна, нет, — я имею в виду обстановку в них: нездоровую и унижающую человеческое достоинство.

Такие учреждения часто называют «гостиницами для бедных», но эти слова звучат как насмешка. Хороша гостиница, если человек не располагает отдельной комнатой, где он мог бы побыть наедине с собой, если его срывают с постели чуть свет и гонят вон, если он имеет право уплатить только за одну ночь и должен каждый вечер заново снимать койку!

Не подумайте, что я пытаюсь огульно предать анафеме все крупные частные и муниципальные заведения подобного рода и все дома для одиноких рабочих. Отнюдь нет. В таком общежитии рабочий избавлен от многих ужасов мелких ночлежных домов, он получает здесь на свои деньги то, чего не получит нигде, — но все равно это не место для жилья; человек, который делает какое-то общественно полезное дело, не должен жить в таких условиях.

Мелкие ночлежные дома, как правило, — сплошной ужас; я это изведал на себе. Но не буду говорить о них, перейду сразу к «гигантам». Один такой дом находится неподалеку от Миддлэссекс-стрит; его постояльцы — почти исключительно рабочие. Прямо с улицы вы по нескольким ступенькам спускаетесь в подвал. Две большие полутемные комнаты заполнены мужчинами, занятыми поглощением пищи, которую они тут же собственноручно готовят. Я тоже собирался приготовить что-нибудь для себя, но запах, ударивший мне в нос, отбил всякий аппетит, и я ограничился тем, что решил понаблюдать, как стряпают и едят другие.

Какой-то человек — видимо, только что вернувшийся с работы, — сел за некрашеный деревянный стол напротив меня и принялся за еду. Соль, насыпанная кучкой на довольно грязном столе, заменяла ему масло. Он макал в нее хлеб и уписывал свой «бутерброд», запивая чаем из большой кружки, а на закуску съел еще кусочек рыбы. Он ни с кем не разговаривал и ни на кого не смотрел. Так же безмолвно ужинали и другие. Никто в этой большой, скудно освещенной комнате не произносил ни слова, уныние и подавленность царили здесь. Люди мрачно размышляли о чем-то за своей убогой трапезой. И я, как рыцарь Роланд, додумал: за какие же грехи эти люди заслужили такое наказание?

Из кухни, однако, доносились оживленные звуки, и я пошел туда — к плите, за которой мужчины варили себе еду. Вонь, ударившая мне в нос при входе, была здесь еще сильнее, я почувствовал тошноту и выбежал на улицу глотнуть свежего воздуха.

Потом я вернулся в дом, заплатил пять пенсов за «кабину» для спанья (вместо квитанции мне вручили огромную медную бирку) и поднялся наверх в курительную. Там я увидел два настольных бильярда и несколько шашечных досок. Вокруг толпились люди: одни играли, другие ждали своей очереди. Вдоль стен тоже сидел народ — кто курил, кто читал, кто занимался починкой одежды. Молодежь весело шумела, старики угрюмо молчали. Можно сказать, что здесь были люди двух типов: веселые и мрачные, — причем грань прокладывал их возраст.

Но как и подвальные помещения, этот зал не может сойти за «домашний очаг», особенно для нас с вами, познавших смысл этого выражения! На стенах висят чудовищные, оскорбительнейшие правила поведения постояльцев. В десять часов гасят свет, и людям не

остается ничего другого, как идти спать. Для этого извольте снова спуститься в подвал, вручить свою бирку дородному сторожу и подняться по другой лестнице в спальное отделение. Я вскарабкался на самую верхотуру и потом прошел вниз, обойдя несколько этажей, заполненных спящими. «Кабина» считается высшим разрядом, туда вдвинута узенькая кровать, и остается еще достаточно места, чтобы человек мог стоя раздеться. Постель неплохая, белье чистое, — в этом отношении претензий предъявить не могу. Но побыть одному и тут никак нельзя.

Чтобы представить себе помещение, заполненное «кабинами», вообразите пчелиные соты, увеличьте мысленно каждую ячейку до двух метров в высоту, остальное — пропорционально, потом поставьте эти увеличенные соты на пол большого сарая — и вот вам все, как в натуре. «Кабины» без потолков, они разделены тонкими перегородками, и вы слышите храп всех спящих, чувствуете каждое движение ваших соседей. Но и эта клетушка-уголок сдается вам на весьма короткий срок! Рано утром вы обязаны покинуть ее; вам не разрешается оставлять там вещи, приходить и уходить, когда заблагорассудится, или, чего доброго, запирать дверь (впрочем, и двери-то никакой нет, имеется лишь дверной проем). Если вы согласны оставаться постояльцем «гостиницы для бедных», то придется мириться с этим, равно как и с тюремными порядками, посредством которых все время подчеркивается, что вы нуль, ничтожество и нечего вам ерепениться.

А по-моему, человеку, который трудится целый день, необходимо иметь отдельную комнату с собственным ключом, где сохраняются в целости его пожитки, где он может почитать или поглядеть в окно, где он свободен бывать когда захочет, где он может завести какие-то собственные вещи, помимо тех, которые он носит на себе и в карманах, где он может прибить на стенку фотографии матери, сестры, возлюбленной, балерин, собак по собственному усмотрению, — словом, человеку необходимо иметь такой уголок, про который он имел бы право сказать: «Это мое, это моя крепость, внешний мир кончается на пороге, здесь я царь и бог!» Имея это, человек будет лучше относиться к своим гражданским обязанностям и будет лучше работать тоже.

Я стоял посреди спальни и слушал. Я переходил от койки к койке и вглядывался в лица спящих. По большей части это были люди молодые, в возрасте от двадцати до сорока лет, — старикам не по карману ночлежный дом, старики ходят в работный дом. Я смотрел на этих молодых мужчин и думал о том, что у них ведь красивые лица — такие лица созданы для женских поцелуев, а тела — для объятий. Они достойны любви и сами способны на любовь. Влияние женщины благотворно, а этим людям не хватает облагораживающего и смягчающего влияния, — они, наоборот, с каждым днем становятся грубее и бесчувственнее. «Где же эти женщины?» — думал я. И мне послышался «блудницы пьяный смех». Эхом отозвались Леман-стрит, Ватерлоо-роуд, Пикадилли и Стрэнд, — и я понял, где эти женщины.

Глава XXI. Необеспеченность

— Чем вы занимаетесь? Вы кажетесь больным.
— Это из-за моих легких. Я работаю на производстве серной кислоты.
— Вы работаете на производстве сернокислого натрия?
— Да.
— Трудная у вас работа?
— Дьявольски трудная.
— Зачем вы избрали себе такую каторжную

профессию?
— Я женат. У меня дети. Не голодать же нам всем!
— Почему вы ведете такой образ жизни?
— У меня семья. В наших местах пропасть безработных.
— Какую работу вы называете тяжелой?
— Мою, какую же еще! Попробовали бы вы поворочать пятидесятифунтовым ломом глыбы по три центнера каждая, когда из печи так и полыхает!
— Мне-то не надо. Я философ.
— Ах, так? Тогда держитесь за свое дело. Хуже нашего и в аду не сыщешь.

Из бесед Роберта Блэтчфорда с разными рабочими.

Я разговорился с одним чрезвычайно озлобленным человеком. По его убеждению, жена обошлась с ним несправедливо и столь же несправедливо обошелся суд. Неважно, кто здесь прав, а кто виноват. Дело в том, что жена добилась развода, и его присудили к выплате десяти шиллингов в неделю на содержание ее и пятерых детей.

— Вы только подумайте, — жаловался он мне, — что будет с нею, если я перестану платить эти десять шиллингов? Вдруг какое-нибудь несчастье случится со мной и я не смогу работать или заболею грыжей, ревматизмом, холерой... Что с ней тогда будет, что? — Он уныло покачал головой. — Пропадет ведь, одна ей дорога — в работный дом, а там, знаете, какая собачья жизнь? А не захочет туда, так будет еще того хуже. Пойдемте, я покажу вам десяток женщин, спящих в подворотне. И это еще не самое страшное, что ее ждет, если не будет меня и моих десяти шиллингов.

Уверенность, с какой этот человек предрекал судьбу своей семьи, заслуживает внимания. Умудренный жизнью, он понимал, как непрочно обеспечена его жена куском хлеба и пристанищем. Крышка ей, если бывший муж потеряет — окончательно или даже на время — способность работать. Раздвиньте рамки этого случая, и вы обнаружите, что точно в таком же положении находятся сотни тысяч и даже миллионы супружеских пар, которые не разводились, а вместе, полюбовно несут заботы о своей семье.

Факты действительно чудовищные. В одном только Лондоне миллион восемьсот тысяч человек относятся к разряду малоимущих, а частично даже неимущих; добавьте к ним еще миллион таких, которых недельная получка спасает от нищенства. Восемнадцать процентов населения Англии и Уэльса вынуждены пользоваться пособием, причем в Лондоне, по данным совета лондонского графства, эти лица составляют двадцать один процент. Разумеется, между получающими пособие и абсолютными нищими есть известная градация, но Лондон кормит и сто двадцать три тысячи полностью обездоленных тоже (цифра, равная населению целого города). Каждый четвертый лондонец умирает в благотворительном учреждении; из каждой тысячи жителей Англии девятьсот тридцать девять человек умирают в бедности; восемь миллионов человек живут впроголодь и, наконец, двадцать миллионов не знают самых элементарных жизненных удобств.

Интересно более подробно рассмотреть данные о лондонцах, умерших в благотворительных учреждениях.

В период от 1886 до 1893 года процент нищих по отношению ко всему населению был в Лондоне ниже, чем по всей Англии в целом; в дальнейшем, однако, Лондон стал перегонять. Но даже из статистического отчета за 1886 год явствует, что в 1884 году в Лондоне скончалось 81 951 человек, из них:

в работных домах 9 909

в больницах 6 559

в сумасшедших домах 278

— — — —

конкуренции тех, которые согласны на еще более мизерную плату, чем она.

Некий человек написал письмо в редакцию, в котором выразил свое возмущение. Его дочь вдвоем с товаркой делают коробки по восемь с половиной пенсов за гросс. Ежедневно они изготовляют четыре гросса. При этом восемь пенсов они должны расходовать на транспорт, два — на этикетки, два с половиной — на клей и один — на шпагат для обвязывания коробок. Им остается один шиллинг девять пенсов, то есть по девять с половиной пенсов на каждую.

Второй случай: на днях в опекунский совет Лутона обратилась за вспомоществованием старушка семидесяти двух лет. По словам газеты, «она шила соломенные шляпы, но вынуждена была бросить это занятие, так как платили баснословно мало: два с четвертью пенса за шляпу, которую требовалось изготовить собственноручно от начала до конца и поставить за свой счет отделку».

Между тем мать и трое детей, о которых говорилось выше, ничем решительно не согрешили, чтобы заслужить подобное наказание. Просто стряслась беда — и все; вышел из строя кормилец семьи. Обезопасить себя на этот счет невозможно: кому как повезет. Каждая семья имеет столько же шансов избежать падения на дно Бездны, сколько и угодить туда. Возможности эти отражены в холодных, безжалостных цифрах. Некоторые из них уместно здесь привести.

Сэр А. Форвуд подсчитал, что ежегодно один рабочий из 1 400 бывает убит, один из 2 500 превращается в полного инвалида, один из 300 превращается в полуинвалида и один из 8 выходит из строя на три-четыре недели по болезни.

Но это касается только несчастных случаев в промышленности. А ведь ужасную роль играет и общая высокая смертность в гетто. Средняя продолжительность жизни обитателей Западного Лондона пятьдесят пять лет, жителей же Восточного Лондона — тридцать лет. Иными словами обитателю Западного Лондона дается возможность прожить вдвое дольше, чем обитателю Восточного Лондона. А еще толкуют об ужасах войны! Да перед лондонскими цифрами меркнет все, что было в Южной Африке и на Филиппинских островах.[36] Вот где проливается кровь — здесь, в самой мирной обстановке! И в этой войне не соблюдается никаких гуманных правил: женщин и грудных детей убивают здесь с такой же жестокостью, как и мужчин. Нечего ссылаться на войну, если в Англии ежегодно убивают и превращают в инвалидов полмиллиона мужчин, женщин и детей, занятых в промышленности.

На Западной стороне умирают, не достигнув пяти лет, восемнадцать процентов детей. На Восточной стороне в том же возрасте погибнут пятьдесят пять процентов детей. В Лондоне есть такие кварталы, где из каждых ста младенцев пятьдесят умирают после года, а из пятидесяти оставшихся в живых двадцать пять гибнут, не дожив до пяти лет. Убийство — вот это что! Ирод посрамлен: ведь он истребил лишь половину младенцев!

О том, что из-за несчастных случаев в промышленности гибнет больше людей, чем на войне, свидетельствует следующая выдержка из недавнего отчета санитарного инспектора города Ливерпуля (его заявление верно не только в отношении Ливерпуля):

«Во дворы здесь почти никогда не заглядывает солнце, а в домах постоянное зловоние, вызываемое главным образом тем, что стены и потолки, сделанные из пористого материала, за многие годы насквозь пропитались всеми запахами. Убедительным доказательством того, что солнечные лучи не проникают в эти помещения, может служить такой факт: комитет садов и парков постановил подарить беднякам ящики с цветами для украшения их жилищ, но это ни к чему не привело, так как цветы чахли в столь нездоровой атмосфере».

М-р Джордж Хоу составил следующую таблицу, характеризующую положение в трех приходах Сент-Джордж в Лондоне:

Процент населения, Смертность

живущего в условиях на тысячу

скученности человек

В Западном 10 13,2

В Южном 35 23,7

В Восточном 40 26,4

А так называемые вредные профессии, в которых занято бесчисленное множества рабочих! Жизнь этих людей поистине висит на волоске и подвергается куда большей опасности, чем жизнь солдата двадцатого века. При обработке льна в полотняном производстве, где работать приходится с мокрыми ногами и в мокрой одежде, чрезвычайно многие болеют бронхитом, пневмонией и острым ревматизмом, а в чесальных и прядильных цехах мелкая пыль вызывает хронические легочные заболевания. Женщина, начавшая работать там с семнадцати — восемнадцати лет, к тридцати годам превращается в развалину. Рабочие химической промышленности (а на химические заводы обычно принимают самых крепких людей, с великолепным телосложением) в среднем не доживают до сорока восьми лет.

О труде гончаров доктор Арлидж говорит следующее: «Пыль в этом производстве убивает не сразу, но из года в год все плотнее оседает на легких, образуя в конце концов как бы панцирь. Дыхание становится все более затрудненным и, наконец, прекращается совсем».

Стальная пыль, каменная пыль, глиняная и известковая пыль, пыль от пуха и древесного волокна — все это уносит больше жизней, чем пулеметы и пушки. Страшнее всего свинцовое отравление, которому люди подвергаются на производстве белил. Вот весьма типичная картина гибели молодой, здоровой, хорошо сложенной девушки-работницы с производства свинцовых белил.

«Соприкасаясь в течение некоторого времени с ядовитыми веществами, девушка заболевает малокровием. На деснах проступает синяя кайма. Но это необязательной признак — иногда десны и зубы сохраняются в хорошем состоянии. Развивается малокровие, и девушка худеет, — но это происходит постепенно, и ни она, ни ее близкие не придают этому значения. Однако болезнь прогрессирует, ей сопутствуют головные боли, которые все нарастают и нередко сопровождаются ухудшением зрения, даже временной слепотой. Появляются симптомы, принимаемые родственниками, а иногда и врачом за обыкновенную истерию. Внезапно возникают судороги. Сначала сводит половину лица, затем руку и ногу с той же стороны и, наконец, все тело. Больная, потеряв сознание, бьется в тяжелом эпилептическом припадке. Приступы следуют один за другим с нарастающей силой, и она умирает. Иногда же сознание возвращается на несколько минут, несколько часов или даже на несколько дней. Больная жалуется все время на невыносимую головную боль или же крайне возбуждена, бредит; это напоминает картину острого маниакального состояния. В некоторых случаях у больной, наоборот, наблюдается подавленность, как при меланхолии. Сознание затемнено, больная перестает понимать, что с ней происходит, речь ее бессвязна. Внезапно (если не считать того, что со стороны пульса уже имелись сигналы: бывший до того мягким и почти нормальным пульс становится замедленным и твердым) начинается новый приступ судорог, и девушка умирает — сразу или после комы. Бывают случаи, когда судороги постепенно прекращаются,

головная боль исчезает и больная выздоравливает; но, к сожалению, она слепнет — временно или навсегда».

Приведу несколько конкретных случаев свинцового отравления.

Шарлотта Рафферти, рослая, красивая молодая женщина, пышущая здоровьем (за всю свою жизнь она не болела ни одного дня), поступила на фабрику свинцовых белил. Первый приступ судорог случился в цеху, она стояла в это время на стремянке. Доктор Оливер осмотрел ее и обнаружил кайму на деснах — свидетельство свинцового отравления. Для него было ясно, что судороги скоро начнут повторяться. Так и случилось. Девушка умерла.

Мери Энн Толер, семнадцати лет, никогда в жизни не страдавшая припадками, поступив на фабрику, трижды заболевала и была вынуждена оставить работу. Ей еще не было девятнадцати лет, когда у нее обнаружились признаки свинцового отравления — припадки с пеной на губах. Вскоре она скончалась.

Мери А., необычайно выносливая женщина, сумела продержаться на свинцовом производстве двадцать лет. За все это время только один раз у нее были судороги. Она родила восьмерых детей, но все они умерли в младенчестве от эклампсии. Однажды утром, расчесывая волосы, она внезапно перестала владеть кистями обеих рук.

У Элизы Х., двадцати пяти лет, после пяти месяцев работы на фабрике свинцовых белил начались припадки. Ее уволили с работы. Она перешла на другую фабрику и работала там без перерыва два года. Вдруг у нее появились прежние симптомы болезни — судороги, и через два дня она умерла от острого отравления свинцом.

Вот что говорит м-р Воэн Нэш: «Дети, матери которых работают на производстве свинцовых белил, появляются на свет лишь для того, чтобы умереть от эклампсии в результате свинцового отравления, — они родятся недоношенными или погибают, не прожив года».

И, наконец, разрешите мне рассказать о Гарриет Уоркер, совсем юной девушке, которую убила безнадежная борьба за кусок хлеба. Работа Гарриет заключалась в том, что она покрывала посуду эмалью, вызывающей свинцовое отравление. Ее отец и брат были безработными. Девушка держала в тайне свою болезнь, ходила пешком на фабрику — шесть миль туда и шесть обратно, зарабатывала свои семь-восемь шиллингов в неделю и умерла семнадцати лет от роду.

Спады производства тоже играют немалую роль в том, что рабочие скатываются в Бездну. Если недельная получка — единственная защита семьи рабочего от нищеты, то легко понять, что вынужденная безработица в течение одного месяца сопряжена с неописуемыми страданиями и муками, от последствий которых жертвы безработицы уже не могут избавиться, даже когда получают работу. Только что я прочел отчет о собрании Карлеильского отделения профсоюза портовых грузчиков, в котором говорится, что многие рабочие на протяжении ряда месяцев зарабатывали четыре-пять шиллингов в неделю, не больше. Такое положение приписывают тому, что в лондонском порту наблюдается застой.

Молодой рабочий, молодая работница, холостые или женатые, не могут надеяться ни на счастливую, здоровую жизнь в среднем возрасте, ни на безбедную старость. Как ни трудятся они, им не удается обеспечить свое будущее. Все зависит от случая, от того — произойдут или не произойдут события, над которыми они не властны. Никакая предосторожность, никакие увертки тут не помогут. Раз они решили остаться на этом поле битвы, именуемом промышленным производством, то пусть знают, что они идут на риск и шансы на успех у них ничтожны. Разумеется, человек может покинуть поле битвы, при условии, что он вообще

удачник и не связан никакими семейными узами. В таком случае мужчине лучше поступить на военную службу, а женщине стать сиделкой Красного Креста или постричься в монахини. Но тогда они вынуждены отказаться от семьи, от детей, от всего того, что придает жизни ценность и спасает от страшного одиночества в старости.

Глава XXII. Самоубийства

Англия — это рай для богатых,
чистилище для мудрых и ад для бедняков.

Теодор Паркер[37]

Когда человек так необеспечен и надежды его на счастье так несбыточны, жизнь, естественно, теряет ценность и самоубийства становятся заурядным явлением. Настолько заурядным, что, какую газету ни открой, обязательно натолкнешься на заметку о том, что кто-то покончил с собой. Причем к неудачному покушению на самоубийство полиция проявляет не больше интереса, чем к делу какого-нибудь пьяного дебошира, решая его с одинаковой быстротой и равнодушием.

Такой случай произошел при мне в Темзенском полицейском суде. Я льщу себя мыслью, что у меня зоркий глаз, чуткий слух и неплохое знание жизни, но должен признаться, что, попав в зал суда, я далеко не все улавливал — по причине молниеносной быстроты, с которой машина правосудия обрабатывала пьяных хулиганов и скандалистов, драчливых мужей, бродяг, воров, укрывателей краденого, шулеров и проституток. В центре зала, на самом светлом месте, стояла скамья подсудимых, и по мере того как судья изрекал свой очередной приговор, на этой скамье непрерывным потоком появлялись все новые фигуры женщин, мужчин и детей.

Я еще находился под свежим впечатлением от последнего подсудимого — чахоточного «укрывателя краденого», присужденного к году тяжелых принудительных работ, несмотря на его попытку добиться снисхождения ссылкой на то, что у него жена и ребятишки и что из-за болезни он не может работать, как на скамье подсудимых уже появился новый обвиняемый — юноша лет двадцати. Я расслышал его имя и фамилию — Альфред Фримен, но не мог разобрать, в чем его преступление. На свидетельское место поднялась добродушного вида толстуха — жена шлюзового сторожа на канале. Дело было ночью на шлюзе «Британия», — поведала она суду. Услышав всплеск воды, она кинулась к шлюзу и увидела вот этого самого парнишку в воде.

Я перевел взгляд на юношу. Так вот в чем он обвиняется — в покушении на самоубийство! Он стоял неподвижно, точно утратив и слух и зрение; прядь красивых темных волос свисала ему на лоб, в его лице, худом и изможденном, было что-то детское.

— Да, сэр, — тараторила свидетельница, — я тяну его что есть силы, хочу вытащить, а он рвется назад. Я давай кричать: «Помогите!» Спасибо, шли мимо рабочие, мы вместе вытащили его и передали констеблю.

Судья сделал комплимент толстухе, воздав хвалу ее мускулам, и в зале рассмеялись. А я не отводил взгляда от этого юноши, который, едва вступив в жизнь, уже страстно ищет смерти в грязных водах канала. Тут-то не до смеха!

Затем свидетельское место занял какой-то мужчина, очень лестно охарактеризовавший юношу и пытавшийся привести смягчающие вину обстоятельства. Он мастер в цехе, Альфред работал у него.

— Парень хороший, — сказал свидетель, — только очень уж заморочен домашними неприятностями денежного порядка. Да еще мать у него больная. Беспокойная натура у парня, все расстраивался, пока не довел себя до того, что уже не смог работать. Я побоялся, как бы мне самому не влетело из-за его плохой работы, и вынужден был дать ему расчет, — закончил мужчина свои показания.

— Имеете что-нибудь сказать? — рявкнул судья.

Юноша что-то пробормотал; он все еще не пришел в себя.

— Констебль, что он говорит? — раздраженно спросил судья.

Дюжий человек в синей форме пригнулся к лицу подсудимого, затем произнес во всеуслышание:

— Он говорит, ваша честь, что очень сожалеет.

— Заключить под стражу, следствие продолжить, — изрек почтенный судья и тут же перешел к слушанию следующего дела, свидетеля по которому уже приводили к присяге.

А юношу, по-прежнему не замечавшего ничего вокруг, увел стражник. Вот и все. Дело Альфреда Фримена от начала до конца заняло пять минут. На скамье подсудимых уже находились два парня со зверскими физиономиями, которые пытались взвалить друг на друга вину за кражу какой-то удочки, ценою, небось, в десять центов.

Беда в том, что эти бедняки действуют весьма неумело, и только при втором или третьем покушении им удается покончить с собой. Суду и полиции это, разумеется, доставляет массу беспокойства и ужасно их раздражает. Иные судьи не скрывают своего отношения к неумелым самоубийцам и откровенно бранят их за то, что они не довели дело до конца. М-р Р. Сэйкс, председатель суда в Стейлибридже, рассматривая несколько дней тому назад дело некоей Энн Вуд, пытавшейся утопиться в канале, спросил ее гневно:

— Если уж вы решили покончить с собой, так почему не сделали этого? Топиться так топиться, зачем же причинять людям хлопоты?!

Нищета, обездоленность, страх перед работным домом — вот главные причины самоубийства людей из рабочего класса. «Утоплюсь, но в работный дом не пойду», — говорила Эллен Хьюз Хант, пятидесяти двух лет. И в прошлую среду в Шордиче проводилось следствие и опознание ее трупа. Из Айлингтонского работного дома был вызван в качестве свидетеля муж покойной. Когда-то он торговал вразнос молочными продуктами, но банкротство и нищета погнали его в работный дом. Жена отказалась последовать за ним.

В последний раз Эллен Хант видели в час ночи. Через три часа на причале канала Риджент были обнаружены ее шляпка и жакет, а позднее был вытащен из воды ее труп. Заключение присяжных: «Самоубийство в состоянии временного умопомешательства».

Такие заключения — преступная ложь! Закон — воплощение лжи, и, пользуясь законом, люди лгут особенно бесстыдно. Например, обесчещенная женщина, отвергнутая всеми, отравляет себя и своего новорожденного ребенка настойкой опия. Младенец умирает, а мать, пробыв долгое время в больнице, остается в живых. После выздоровления ее судят за убийство, признают виновной и приговаривают к десяти годам каторжных работ. Она выжила, и закон считает ее ответственной за свои поступки. Умри она вместе с ребенком — тот же закон признал бы, что она находилась в «состоянии временного умопомешательства».

Но вернемся к делу Эллен Хант. С одинаковым основанием можно утверждать, что мужем этой женщины овладело временное умопомешательство, когда он пошел жить в Айлингтонский работный дом, как и то, что временное умопомешательство овладело Эллен, когда она пошла топиться. Какое из двух мест выбирать — это уж дело вкуса и каждый его решает по-своему.

Если бы я очутился в подобном положении, то, зная, что такое работный дом и что такое канал, я избрал бы последний. И я беру на себя смелость заявить, что я не больший психопат, чем Эллен Хант, ее муж или все остальное племя людское.

В наше время человек уже не находится в плену у слепых инстинктов. Он обладает способностью к мышлению, ум его достаточно развит, чтобы он мог сознательно выбирать между жизнью и смертью в зависимости от того, что обещает ему жизнь — радость или страдание. Смею утверждать, что Эллен Хант, обманутая во всех своих надеждах и полностью лишенная радостей жизни, которые она, несомненно, заслужила своим многолетним трудом, не видя впереди ничего, кроме ужасов работного дома, поступила весьма благоразумно и трезво, избрав смерть в водах канала. Далее, смею утверждать, присяжные вынесли бы куда более мудрое решение, если бы признали, что в состоянии «временного умопомешательства» находилась не она, а общество, допустившее, чтобы эта женщина после стольких лет труда на его благо была обманута в своих надеждах и лишена радостей жизни.

Временное умопомешательство! Ох, эти проклятые лживые слова, которыми сытые, тепло одетые люди хотят прикрыть свою вину перед голодными братьями и сестрами, одетыми в рубище!

А вот несколько обыденных происшествий, описанных в одном номере газеты «Обсервер», издающейся на Восточной стороне:

«Джонни Кинг, по профессии пароходный кочегар, обвинялся в покушении на самоубийство. Явившись в среду в полицейский участок, Кинг заявил, что он принял дозу фосфора, так как нигде не мог достать работу и находился в крайней нужде. Кинга задержали и дали ему рвотного; в рвоте было обнаружено большое количество яда. Привлеченный к суду Кинг заявил, что очень сожалеет о случившемся. Он нигде не мог устроиться на работу, хотя предъявлял отличные аттестации за шестнадцать лет службы. М-р Дикинсон распорядился увести подсудимого в камеру для беседы со священником.

Тимоти Уорнер, тридцати двух лет, был заключен под стражу для продолжения следствия в связи с аналогичным преступлением. Он спрыгнул в воду с пристани Лаймхауз, а когда его спасли, заявил: «Я сделал это преднамеренно».

Молодая, приличного вида женщина, назвавшаяся Элен Грей, обвинялась в попытке покончить с собой. В воскресенье, в половине девятого утра, постовой полисмен № 834 — К нашел ее лежащей в подъезде одного из домов на Бенворт-стрит; с трудом удалось ее разбудить. В руке она сжимала пустой пузырек. Элен Грей призналась, что часа два-три тому назад выпила дозу опиума. Так как состояние женщины оказалось тяжелым, был вызван районный врач. Он велел напоить больную кофе и не давать ей спать. На суде Элен Грей заявила, что покушалась на жизнь потому, что совершенно одинока и не имеет пристанища».

Я не стану утверждать, что все самоубийцы — психически нормальные люди, но это отнюдь не значит, что психически нормален всякий, кто не наложил на себя рук. Кстати, очень часто люди сходят с ума от неуверенности в завтрашнем дне и тревоги за кусок хлеба. Если сравнить разные профессии, то уличные торговцы, специфика работы которых лишает их всякой обеспеченности, дают наивысший процент психических заболеваний. Из десяти тысяч уличных

торговцев-мужчин ежегодно попадают в психиатрические больницы двадцать семь человек, и из такого же числа женщин — тридцать семь. В армии, среди солдат, которые уж едой-то и постелью всегда обеспечены, психически заболевают тринадцать человек на десять тысяч, а среди фермеров и скотоводов — пять человек на десять тысяч. Таким образом, уличный торговец подвергается вдвое большей опасности сойти с ума, чем солдат, и в пять раз большей, чем фермер.

Неудачи и бедственное положение часто лишают людей рассудка, доводя одних до психиатрической больницы, других до морга или виселицы. Когда приходит беда и отец семейства, несмотря на любовь к жене и детям, несмотря на все свое трудолюбие, не в силах найти работу, нечего удивляться, что он теряет рассудок. И чем больше он истощен голодом и болезнью, чем сильнее исстрадалась его душа от жалости к семье, тем скорее это может случиться.

«Красивый густоволосый шатен с темными выразительными глазами, правильными тонкими чертами лица и пушистыми усами, одетый в очень потрепанный серый костюм, без воротничка», — так описал репортер Фрэнка Кавиллу, представшего перед судом в один пасмурный сентябрьский день.

Фрэнк Кавилла служил в Лондоне маляром-обойщиком. Его характеризуют как хорошего рабочего: он был старателен, трудолюбив, никогда в рот не брал спиртного. Все соседи Кавиллы в один голос утверждают, что это был нежный отец и любящий муж.

Жена Фрэнка Кавиллы, Ганна, была рослая, красивая, жизнерадостная женщина. Она всегда заботилась, чтобы дети ее ходили в школу чистенькие, аккуратно одетые, — все соседи заявили об этом в один голос. Довольство царило в этой семье, глава которой всегда имел работу и не пьянствовал.

И вдруг судьба переменилась. Фрэнк служил у подрядчика по фамилии Бэк и занимал квартиру в одном из его домов на Трэндли-роуд. М-ра Бэка выбросила из двуколки лошадь, и он был убит на месте. В данном случае судьба приняла обличье норовистой лошади. Фрэнк Кавилла очутился перед необходимостью искать другую работу и другую квартиру.

Это случилось полтора года тому назад. Кавилла мужественно боролся с обстоятельствами. Он переехал в маленький домишко на Батавия-роуд, но и тут не мог свести концы с концами. Постоянную работу найти было невозможно. Кавилла не отказывался ни от какой случайной работы, и все же жена и четверо детей голодали у него на глазах. Он и сам голодал, терял силы, и, наконец, три месяца тому назад болезнь свалила его. И тогда в доме совершенно нечего стало есть. Ни сам Кавилла, ни его жена никогда не жаловались, не говорили никому о своих злоключениях. Но бедняки — народ чуткий: соседки посылали семье Кавиллы еду, хотя, зная, какие это почтенные люди, делали это тайно, анонимно, чтобы не обидеть гордых соседей.

Стряслась беда, и выхода не было. Кавилла бился, недоедал и мучился полтора года. А потом, как-то сентябрьским утром, поднялся рано, взял карманный нож и перерезал горло жене Ганне, тридцати лет, сыну Фрэнку, двенадцати лет, сыну Уолтеру, восьми лет, дочери Нелли, четырех лет, и самому маленькому — Эрнсту, которому был год и четыре месяца. После этого он сел сторожить убитых. Когда поздно вечером явилась полиция, Кавилла попросил полисменов бросить пенни в счетчик-автомат, чтобы можно было зажечь газовый рожок и осветить комнату.

Фрэнк Кавилла стоял перед судом в потрепанном сером костюме, без воротничка. Красивый

густоволосый шатен с темными выразительными глазами, правильными, тонкими чертами лица и пушистыми усами.

Глава XXIII. Дети

В лачугах тупеем, без солнца хиреем,
Забыв, что прекрасен мир.

Одно зрелище радует глаз на Восточной стороне, одно-единственное: это дети, пляшущие на улице под звуки шарманки. Стоишь и смотришь на них, словно зачарованный, — до чего же они хороши, эти малютки, наша подрастающая смена! Как непринужденны их движения, как легки и стремительны их прыжки, как плавно они выступают, кружатся, приседают, подражая виденному и импровизируя, создавая собственные ритмы, каким не обучают в балетных школах.

Я вступал в разговор с этими детьми при всяком удобном случае, и у меня создалось впечатление, что они такие же смышленые, как и все прочие дети, а во многих отношениях даже смышленее. У них необыкновенно живое воображение и поразительная способность переноситься в мир романтики и фантазии. В их крови бурлит веселье, они наслаждаются музыкой, танцами, пестрыми красками, и нередко сквозь грязь и лохмотья мне удавалось разглядеть удивительно красивое личико и прелестную фигурку.

Но злой колдун, живущий в Лондоне, похищает их. Они исчезают. Напрасно станете вы искать кого-нибудь, хоть отдаленно похожего на них, среди взрослых. Вы обнаружите лишь хилых недорослтков с уродливыми лицами, с вялым, неразвитым умом. Пропало все: грация, красота, фантазия, гибкость ума и эластичность мускулов. Порой, впрочем, можно увидеть на улице, как женщина, не старая еще, но уже утратившая всякую женственность, опухшая от пьянства, подхватит вдруг свои обтрепанные юбки и пустится отплясывать на панели какой-нибудь нелепый танец. Это в ней заговорил голос минувшего, когда она маленькой девчуркой плясала под звуки шарманки. Нелепый, неуклюжий танец — все, что осталось от надежд, которые сулило детство; в затуманенном мозгу женщины вдруг мелькнуло давно забытое воспоминание. Собирается толпа зрителей. Девочки, взявшись за руки, танцуют вокруг пьяной плавно и легко, и она смутно помнит, что сама плясала так когда-то, но теперь, увы, ее танец лишь пародия на былое. Вскоре женщина устает, начинает жадно ловить воздух и, спотыкаясь, уходит из круга. А девочки продолжают танцевать.

Дети гетто обладают всеми качествами, которые необходимы для лепки благородных характеров, но гетто, как дикий зверь, набрасывается на своих детенышей, терзает молодое поколение, губит в нем эти качества, душит жизнерадостность и загоняет многих в могилу, а тех, кого не удается уничтожить, превращает мало-помалу в горьких, несчастных пропойц, огрубевших, опустившихся, низведенных до скотского состояния.

Как это происходит, я подробно описал в предшествующих главах, а теперь даю слово профессору Хаксли.

«Каждый, кто знаком с крупными промышленными центрами в Англии и за границей, — пишет он, — знает, что большая и все увеличивающаяся часть населения живет там в условиях, которые французы называют „la misere“ [38]. В этих условиях человек лишен самого необходимого для нормальной жизнедеятельности его организма: пищи, тепла и одежды. В этих условиях мужчины, женщины и дети вынуждены ютиться в каких-то звериных логовах, жизнь в которых несовместима с понятием о приличии; люди лишены всяких средств для поддержания здоровья, а пьянство и драка — единственно доступные для них развлечения.

Голод и болезни многократно увеличивают страдания, усугубляют физическое и нравственное вырождение, и даже упорный, честный труд не помогает в борьбе с голодом, не спасает от смерти в нищете».

При таких условиях положение детей безнадежно. Они мрут, как мухи, выживают лишь те, кто обладает исключительной выносливостью и чей организм приспосабливается к воздействию среды. Ребенок здесь не знает, что такое домашний очаг. В берлоге, где он живет, он привыкает к бесстыдству и непристойностям; в бедности, тесноте и грязи чахнет его душа и хиреет тело. Если отец, мать и трое-четверо детей ютятся в одной комнатушке и дети должны по очереди дежурить ночью, чтобы отгонять крыс от спящих, жить постоянно впроголодь и буквально погибать от паразитов, легко себе представить, в каких мужчин и женщин превратится уцелевшая в гетто молодая поросль.

Жизни нищенских семей
Как не быть извечно грустной?
Гнусным смехом, бранью гнусной
Там баюкают детей.

Молодые поженились, сняли комнату. Денег стало уходить больше, хотя заработок не увеличился, — хорошо еще, что глава семьи здоров и не потерял работы! Рождаются дети. Пора бы, пожалуй, переменить квартиру, но это не по карману: ведь чем больше детей, тем больше расходов. А семья все растет, и скоро уже в маленькой комнатушке не повернуться. Большую часть времени дети проводят на улице, а лет в четырнадцать, когда теснота становится для них невыносимой, они покидают родителей. Мальчику, возможно, удастся снять для себя угол, вообще у него какие-то перспективы имеются. Но у девочки четырнадцати или пятнадцати лет, которую те же обстоятельства гонят из родительского дома, то бишь из одной комнаты, у девочки, способной в лучшем случае заработать жалких пять-шесть шиллингов в неделю, путь один. И конец этого пути весьма скорбный, как тот конец, который постиг неизвестную женщину, найденную мертвой в подъезде одного дома на Дорсет-стрит в Уайтчепеле. Ей было шестьдесят два года; она торговала спичками. Бездомная, больная, одна-одинешенька в свой последний час, она умерла, как в лесу умирают звери.

У меня не выходит из головы мальчуган, которого я видел на скамье подсудимых в полицейском суде Восточной стороны. Его макушка едва доходила до барьера. Было установлено, что он украл два шиллинга у какой-то женщины. Деньги он истратил не на конфеты и пирожные и не на развлечения, а на еду.

— Почему ты не попросил у этой женщины поесть? — брюзгливо спросил его судья. — Она бы, наверное, тебя накормила.

— Станешь просить — посадят в тюрьму за попрошайничество, — отвечал мальчик.

Судья нахмурился и молча принял упрек. Никто не знал ни мальчика, ни его родителей. Это был безродный оборвыш, в полном смысле слова дикий зверек, рыщущий в джунглях империи, чтобы хоть как-нибудь утолить свой голод; такой нападет на слабого и сам, в свою очередь, станет жертвой более сильного.

Благотворители собирают детей гетто и устраивают для них однодневные экскурсии за город. Они утверждают, что вряд ли найдется один десятилетний ребенок, не участвовавший хоть раз в подобной экскурсии. Некий автор пишет по этому поводу: «Нельзя недооценивать перемену, происшедшую в сознании ребенка, который провел целый день за городом. Дети хотя бы узнают, что представляют собой лес и поле, и таким образом то, о чем они читали в книжках,

приобретает для них новый смысл».

Итак, если счастье улыбнется ребенку, то он попадет в число тех, кого благотворители вывезут на денек за город! Но ведь эти бедняки плодят такое количество детей, что всех-то мудрено вытащить за город даже на один день. Один день! За всю жизнь единственный! А про остальное время неплохо сказал один мальчуган священнику: «В десять лет мы отлыниваем, в тринадцать норовим слямзить что-нибудь, а в шестнадцать подставляем фонари фараону». На обычном языке это означает, что в ребячестве они убегают с уроков, в тринадцать лет воруют, а в шестнадцать, став уже достаточно опытными хулиганами, избивают полисменов.

Священник Картмел Робинсон рассказывает о мальчике и девочке из его прихода, которые задумали пойти в лес. Дети долго брели по нескончаемым улицам в надежде когда-нибудь выбраться из города и, вконец измученные, присели отдохнуть. Какая-то добрая женщина доставила их домой. Очевидно, про этих детей забыли щедрые филантропы.

Тот же Робинсон утверждает, что на одной из улиц Хокстона (так называется часть Восточного Лондона) в восьмидесяти домишках проживает более семисот детей в возрасте от пяти до тринадцати лет. «Лондон запер детей в лабиринты улиц и мышеловки домов и отнял у них законное право наслаждаться небом, полями и гладью реки. Вот откуда у нас столько хилых мужчин и женщин», — заключает Робинсон.

М-р Робинсон рассказывает также об одном прихожанине его церкви, который сдал комнату в подвале супружеской чете. «Эти люди заявили, что у них двое детей, — повествует его преподобие, — а когда въехали, оказалось, что ребят не двое, а четверо. Вскоре родился пятый, и домовладелец предложил квартирантам очистить помещение. Жильцы не послушались. Явился санитарный инспектор. Он привык смотреть сквозь пальцы на многие нарушения, но на сей раз пригрозил владельцу дома составить протокол. Хозяин оправдывался, что не в состоянии выселить жильцов, — они не хотят выезжать, ибо за доступную им плату их никуда не пустят с такой кучей детей. Это, кстати, общий довод большинства бедняков. Что тут будешь делать? Домовладелец очутился, что называется, между молотом и наковальней. Он подал заявление в суд, и оттуда тоже приходил инспектор. Но уже дней двадцать прошло с тех пор, а все остается без перемены. Вы думаете, это единственный случай? Наоборот — самый обыденный».

На прошлой неделе полиция совершила облаву на какой-то притон и в одной из комнат нашла двух девочек. Девочки были арестованы наравне со взрослыми, живущими в этом доме, проститутками. Отец их заявил на суде, что снимает там комнату со своим семейством, состоящим из жены и детей: двух старших и этих двух, посаженных на скамью подсудимых; а живут они там потому, что другой комнаты за полкроны в неделю не найти. Судья освободил малолетних «преступниц», но прочел нотацию их отцу насчет того, что он воспитывает своих детей в нездоровой обстановке.

Можно было бы умножить подобные примеры. В Лондоне «избиение младенцев» [39] приняло такие чудовищные размеры, каких еще не знала история. И поистине чудовищна бессердечность людей, которые молятся Иисусу Христу, верят в Бога и регулярно посещают по воскресеньям церковь, а остальные дни недели кутят на деньги, запятнанные кровью детей и выжимаемые у обитателей Восточной стороны в виде квартирной платы и прибылей от различных предприятий. А иной раз они способны выкинуть и такую штуку: возьмут полмиллиона накопленных таким путем денег, да и пошлют куда-нибудь в Судан, чтобы учить грамоте детей негров.

Глава XXIV. Ночные призраки

Некогда все они были крошечными красными младенцами, с еще не затвердевшим костяком, и из них можно было вылепить кого угодно, придать им любую социальную форму.

Карлейль

Вчера поздно вечером я прошелся пешком по Коммершл-стрит от Спайтелфилдза до Уайтчепела и дальше на юг, по Леман-стрит, к пристани, и воочию убедился, чего стоят хвастливые заверения преисполненных гражданской гордости газет Восточного Лондона о том, что жители этого района живут как нельзя лучше.

Трудно описать хотя бы десятую долю того, что я увидел, — для многого просто не подыщешь слов. Могу сказать только, что это было нечто кошмарное — какое-то сборище отбросов человечества; я видел и слышал на улицах уйму непередаваемо непристойного, затмевавшего даже «ночные ужасы» Пикадилли и Стрэнда. Это был зверинец, где расхаживали двуногие в брюках и юбках, лишь отдаленно похожие на людей, а в остальном — скорее звери. Картину дополняли стражи в мундирах с медными пуговицами, наводившие порядок, если в зверинце начинали вести себя слишком беспокойно.

Я был рад присутствию там блюстителей порядка, ибо не надел своего «матросского» костюма и мог послужить приманкой для хищников, шнырявших взад и вперед. Когда стражей не было поблизости, эти трущобные волки ощупывали меня голодным взглядом, и я боялся их рук, их страшных голых рук, похожих на обезьяньи лапы. Да и вообще эти люди были похожи на горилл — приземистые, сутулые, уродливые. Казалось, природа поскупилась, не дала им ни могучих играющих мускулов, ни мужественных, широких плеч, а отпустила ровно столько всего, сколько требуется для пещерного человека. Но в их тощих телах заключена дикая, первобытная сила, — такие руки могут вцепиться, терзать, рвать на части. Говорят, при нападении они так перегибают свою жертву, что у нее ломается позвоночник. Из-за десяти шиллингов они готовы без всякой жалости убить первого встречного, был бы только случай. Это новая порода дикарей — дикари больших городов. Место их охоты — улицы и дома, переулки и дворы. Дома и улицы для них то же, что для дикаря горы и долины. Их джунгли — городские трущобы; здесь они живут, здесь рыскают в поисках добычи.

Благородные, изнеженные господа — обитатели роскошных особняков и завсегдатаи раззолоченных театров Западного Лондона — не видят подобных созданий и даже не подозревают об их существовании. Но дикари эти существуют; они здесь и готовы к прыжку. И горе Англии в тот день, когда она отступит на свои последние рубежи и все способные держать оружие мужчины окажутся на линии огня! Ибо в тот день дикари выползут из своих нор и берлог, и жители Западного Лондона увидят их, как увидали когда-то благородные, изнеженные аристократы феодальной Франции им подобных и спрашивали друг друга: «Откуда они? Неужели это люди?»

Но не только этими существами населен зверинец; они лишь появляются то тут, то там, выискивая уголки потемнее, скользя вдоль стен, подобно теням. Но женщины, женщины, давшие им жизнь, — те бродят повсюду! Они нахально приставали ко мне, назойливо выпрашивая пенни и делая непристойные предложения. Они пьянствовали во всех кабаках — грязные, косматые и бесстыдные до предела, — бормотали похабные слова, подмигивая осоловелыми глазами. Напившись, они засыпали на скамьях, за стойками — где попало и

являли невыносимо омерзительное зрелище.

И были там еще другие: страшные, похожие на призраки существа, подлинные отбросы общества, чудовищные в своей уродливости, ходячие скелеты, живые трупы, — женщины, доведенные недугами и пьянством до того, что, продаваясь с публичного торга, не могли получить за себя даже двух пенсов, и мужчины с искаженными лицами, в фантастических лохмотьях, утратившие всякое человеческое подобие, переступавшие с идиотической ухмылкой с ноги на ногу, как обезьяны, и, казалось, не имевшие сил сделать еще хоть шаг. Но были и юные девушки, восемнадцати — двадцати лет, стройные, красивые, с лицами, еще не испорченными пороком и пьянством, эти, должно быть, внезапно и стремительно скатились в Бездну. Заметил я также одного четырнадцатилетнего мальчика и другого — лет шести-семи; оба бледные, болезненные, явно бездомные, они сидели на тротуаре, прислонившись к ограде дома, и наблюдали за тем, что творилось вокруг.

Непригодные и лишние! Промышленность не нуждается в них. Нет таких предприятий, где ощущалась бы нехватка рабочих рук. Портовые грузчики толпятся у причалов и уходят оттуда с проклятиями, потому что их не берут. Механики, имеющие работу, отдают шесть шиллингов в неделю в пользу безработных товарищей. Пятьсот четырнадцать тысяч текстильщиков протестуют против предложения запретить использовать труд детей моложе пятнадцати лет. Женщины-работницы, которых избыток, трудятся на хозяев потогонных мастерских, получая десять пенсов за четырнадцатичасовой рабочий день. Альфред Фримен, лишившись работы, ищет смерти в грязных водах канала. Элен Хьюз Хант тоже предпочитает утопиться, лишь бы не идти в Айлингтонский работный дом. Фрэнк Кавилла, не найдя работы, которая дала бы ему возможность прокормить семью, перерезает горло жене и детям.

Непригодные и лишние, брошенные на произвол судьбы, окруженные презрением, эти несчастные гибнут в Бездне. Они — порождение проституции, проституции мужчин, женщин и детей, вынужденных продавать предпринимателю плоть и кровь, ум и душу. Если это все, что цивилизация может дать человеку, то уж лучше вернуться в дикое, первобытное состояние, лучше переселиться в пустыни и леса, жить в пещерах и кочевать с места на место, чем быть людьми машинного века и обитать на дне Бездны.

Глава XXV. Вопль голодных

Мне кажется, если бы Всемогущий Господь задумал создать племя людей, которые должны были бы есть за всех и никогда не работать, Он дал бы им только рты, но сделал бы их без рук; а пожелай Он создать таких людей, которые должны были бы работать за всех и ничего не есть, Он сделал бы их без ртов, но зато с большим количеством рук.

Авраам Линкольн[40]

Один смышленый юноша с Восточной стороны жаловался мне на свою физическую недоразвитость:

— Мой отец куда сильнее меня, он ведь из деревни. Вот поглядите, какие у меня худые руки! — Он засучил рукав рубашки. — И все от недоедания. Нет, сейчас-то я ем, что хочу. Но дела этим

уже не поправишь. Теперь не восполнишь ту нехватку, которую я ощущал в детстве. Отец приехал в Лондон из Ирландии. Мать умерла. Нас, детей, было шестеро, и жили мы с отцом в двух комнатушках.

Ну и туго же ему приходилось! Он мог бросить нас, но не захотел. Целый день, бывало, работает, как вол, а вечером придет домой, варит обед, возится с нами, чтоб мы не чувствовали, что мы сироты. Старался, из кожи лез, а еды все равно не хватало. Мясо мы редко когда ели, да и то брали самый последний сорт. А разве это обед для ребенка — хлеб да кусочек сыра, и того не вдоволь?

И видите, что получилось. Потому я и щуплый такой, и нет у меня отцовской силы. Заморили в детстве голодом. Еще одно-два поколения, и от таких, как я, следа не останется. А вот младший мой братишка — тот выше и крепче; это потому, что у нас была дружная семья, понимаете?

— Нет, не понимаю, — сказал я. — Казалось бы, в таких условиях младшие дети должны быть еще слабее.

— Но только не в дружных семьях, — возразил он. — Походите по Восточной стороне, приглядитесь хорошенько. И когда увидите крупного, здорового ребенка лет восьми — десяти, двенадцати, — так это уж наверняка один из младших, если не самый младший в семье. И очень просто почему — старшим приходится голодать больше, чем младшим. Младшие родятся на свет, когда старшие уже работают, — и денег в семье больше и питание получше.

Он опустил рукав. Его тощая рука была наглядным доказательством того, что хроническое недоедание если и не убивает людей, то делает их заморышами. Я услышал здесь лишь одного из миллионов, чьи голоса сливаются в общий голодный вопль в величайшей империи мира.

Ежедневно более миллиона бедняков получают в Соединенном Королевстве государственное пособие. В течение года каждый одиннадцатый рабочий обращается за пособием в благотворительные учреждения. Тридцать семь с половиной миллионов англичан живут с семьями на месячный заработок менее двенадцати фунтов. И постоянная восьмимиллионная армия бедняков находится на грани голода.

Один из комитетов при Лондонском управлении школ выступил со следующим заявлением: «Только в Лондоне в те периоды, когда не ощущается особых экономических бедствий, насчитывается пятьдесят пять тысяч голодающих школьников, которых в силу этого обстоятельства бесполезно обучать». Фраза «когда не ощущается особых экономических бедствий» выделена мною, и сделал я это потому, что в устах англичан она означает хорошие времена, ибо просто «бедствия», то есть нужду и недоедание, они научились принимать как неотъемлемую часть существующего социального строя. Хроническое недоедание — заурядное явление для них. Только когда люди начинают гибнуть от голода массами, англичанам приходится признать это обстоятельством из ряда вон выходящим.

Никогда не забуду горькой повести, которую поведал мне на исходе пасмурного дня один слепой в лавчонке на Восточной стороне. Он был старшим из пятерых детей, выросших без отца. По долгу старшего он работал и голодал, уступая свой кусок хлеба младшим. По три месяца подряд он не видел мяса, за всю жизнь ни разу не поел досыта. Он считает, что до слепоты его довело вечное недоедание. Даже Королевская комиссия по делам слепых, сказал он, подтверждает это. И он процитировал наизусть из отчета комиссии: «Слепота чаще всего поражает бедняков, и чем беднее человек, тем скорее постигает его это несчастье».

Он еще многое говорил, этот слепой, и в его голосе звучала горькая обида человека, которого

общество обрекло на голод. Он был одним из громадной армии лондонских слепых и жаловался, что в специальных приютах они не получают даже половины минимально необходимой пищи. Вот их дневной рацион:

Завтрак: миска похлебки с черствым хлебом.

Обед: 3 унции мяса, полфунта картофеля, ломтик хлеба.

Ужин: миска похлебки с черствым хлебом.

Оскар Уайльд[41] — упокой, Господи, его душу! — поведал о страданиях ребенка в тюрьме. Но это вопль не только детей, но и взрослых арестантов — мужчин и женщин. «Второе, что причиняет ребенку в тюрьме страдания, — пишет Уайльд, — это голод. В половине восьмого ему дают на завтрак ломоть скверно выпеченного тюремного хлеба и кружку воды, в полдень — обед: миску жидкой похлебки из грубо размолотой кукурузы, а в половине шестого — ужин: ломоть хлеба и кружку воды. Даже крепкий, закаленный взрослый заболевает от подобной еды; особенно страдают арестанты от поносов, которые их обессиливают. В больших тюрьмах принято выдавать арестантам закрепляющие средства, не дожидаясь их просьб. Что касается детей, то они, как правило, просто не могут переварить такую пищу. Каждый, кто так или иначе соприкасается с детьми, знает, как легко нарушается пищеварение ребенка от всякого огорчения. Терзаемый страхом в темноте одиночной камеры, проплакавший весь день, иногда до глубокой ночи, ребенок не в состоянии есть эту грубую, мерзкую пищу. Один малыш проплакал во вторник все утро от голода — тюремный хлеб не лез ему в горло. Надзиратель Мартин сжалился над ним: окончив раздачу завтраков, он пошел и купил для него сладких галет. Мартин совершил добрый поступок, ребенок почувствовал это и, не зная тюремных порядков, рассказал одному из старших надзирателей о доброте младшего надзирателя. На Мартина был, разумеется, подан рапорт, и его уволили».

Роберт Блэтчфорд сравнивает паек работного дома с солдатским пайком, какой получал он сам в бытность свою солдатом. Паек этот считался не слишком сытным и все же был в два раза больше того, что получает современный бедняк в работном доме.

Наименование Рацион бедняка Рацион

продуктов в работном доме солдата

Мясо 3 1/4 унции 12 унций

Хлеб 15 1/2 » 24 »

Овощи 6 » 8 »

Мужчина в работном доме получает порцию мяса, не считая супа на костном бульоне, лишь раз в неделю; и потому у всех, по словам Блэтчфорда, «бледные, землистые лица — явное следствие голодания».

А вот нормы продуктов на неделю обитателя работного дома и надзирателя этого же дома:

Наименование Норма Норма

продуктов надзирателя бедняка

Хлеб 7 фунтов 6 1/4 фунта

Мясо 5 » 1 фунт 2 унции

Бекон 12 унций 2 1/2 унции

Сыр 8 » 2 »

Картофель 7 фунтов 1 1/2 фунта

Овощи 6 » 0

Мука 1 » 0

Сало 2 унции 0

Масло 12 » 7 унций

Рисовый пудинг 0 » 1 фунт

Тот же Блэтчфорд пишет: «Норма надзирателя гораздо больше нормы бедняка, — и все же, как видно, она не считается достаточной, поскольку под графой надзирателя имеется специальное примечание, что „обслуживающему персоналу и надзирателям, проживающим в работном доме, кроме того, выдается еженедельно по два с половиной шиллинга наличными“. Если бы обитатель работного дома получал пищи вволю, зачем было бы тогда давать надзирателю больше? Но если даже увеличенной нормы надзирателю не хватает, то как может бедняк насытиться менее чем половинной долей?»

Но голодают не только жители гетто, арестанты и нищие. Сельский батрак тоже не знает, что значит есть досыта. Собственно говоря, именно пустой желудок и гонит жителей деревни в город. Посмотрим, как живет семья рабочего с двумя детьми в колонии для бедных в Беркшире. Предположим, что глава семьи имеет постоянную работу, за которую получает тринадцать шиллингов в неделю и пользуется бесплатным жильем. Вот его недельный бюджет:

Шиллингов Пенсов

Хлеб — 5 куртенов[42] 1 10

Мука (1/2 гал[43]) 0 4

Чай (1/4 фунта) 0 6

Масло (1 фунт) 1 3

Сало (1 фунт) 0 6

Сахар (6 фунтов) 1 0

Бекон или другое мясо (около 4 фунтов) 2 8

Сыр (1 фунт) 0 8

Молоко (полбанки сгущенного молока) 0 3 1/4

Керосин, свечи, синька, мыло, соль, перец и т.п. 1 0

Уголь 1 6

Пиво 0 0

Табак 0 0

Страхование от несчастного случая 0 3

Профсоюзные взносы 0 1

Дрова, инструменты, аптека и др. 0 6

Страхование от огня и остаток на одежду 1 1 3/4

— —

И т о г о: 13 шиллингов 0 пенсов

Опекуны работного дома в этой колонии похваляются своим умением экономно вести хозяйство. Их затраты на призрение бедняков составляют еженедельно:

На мужчину — 6 шиллингов 1 1/2 пенса

На женщину — 5 » 6 1/2 »

На ребенка — 5 » 1 1/4 »

Значит, если человек, чей бюджет я привел выше, останется без работы и попадет в работный дом, то содержание его с семьей выразится в следующей сумме:

На главу семьи — 6 шиллингов 1 1/2 пенса

На его жену — 5 » 6 1/2 »

На двоих детей — 10 » 2 1/2 »

— —

И т о г о: 21 шиллинг 10 1/2 пенсов

Итак, содержание семьи, существовавшей на тринадцать шиллингов в неделю, обошлось бы в работном доме больше чем в двадцать один шиллинг. А ведь всем известно, что при оптовой закупке провизии и совместном питании большого числа людей это должно быть не дороже, а дешевле.

Кстати, когда составлялась смета расходов указанной семьи из четырех человек, я узнал, что в том же районе семья из одиннадцати человек существует на заработок не в тринадцать, а в двенадцать шиллингов (зимой даже одиннадцать) и не пользуется при этом бесплатным жильем, а расходует три шиллинга в неделю на аренду дома.

Запомним — и запомним твердо: осе примеры нищеты и деградации в Лондоне относятся ко всем Англии о целом. Говорят, что Париж — не Франция, но Лондон — это Англия. Ужасные условия, превращающие Лондон в ад, превращают в ад и все Соединенное Королевство. Утверждение, что разукрупнение Лондона улучшит якобы положение дел, лживо и ни на чем

не основано. Если бы шестимиллионное население Лондона разделить на сто городов по шестьдесят тысяч человек в каждом, нищета, конечно, была бы разукрупнена, но нисколько от этого не уменьшилась; общий итог остался бы прежним.

М-р Б. Раунтри в своем исчерпывающем исследовании пришел к тем же выводам в отношении провинции, что и Чарлз Бут в отношении столицы, то есть что и там и здесь четвертая часть населения обречена на нищету, губящую людей морально и физически; и там и здесь четвертая часть населения систематически недоедает, плохо одета, не обеспечена ни жильем, ни теплой одеждой в условиях сурового климата. В смысле же чистоты и соблюдения приличий эти англичане стоят ниже дикарей и обречены на нравственное вырождение.

Старик ирландец в Керри жаловался Роберту Блэтчфорду на свою горемычную жизнь. «А чего бы ты хотел?» — спросил его Блэтчфорд. Опершись на заступ, крестьянин долго смотрел на мрачные тучи, нависшие над черными торфяными полями, потом переспросил: «Чего бы хотел?» — И сказал печально, точно беседуя с самим собой: — «Самые лучшие наши парни уехали за море, хорошие девушки тоже, агент отнял у меня свинью, дожди погубили весь урожай картофеля, и я уже стар. Чего же мне теперь хотеть? Только Страшного суда».

Он хочет увидеть Страшный суд! И не он один! Со всех концов страны доносятся вопли голодных — из гетто и деревень, из тюрем и ночлежек, из приютов для убогих и работных домов. Это голоса людей, которые никогда не едят досыта. Голодают миллионы: мужчины, женщины, дети и грудные младенцы; слепые, глухие, убогие, больные; бродяги и труженики, арестанты и нищие; ирландцы и англичане, шотландцы и валлийцы. И это так, несмотря на то, что пять человек способны напечь хлеба для тысячи ртов, несмотря на то, что один рабочий способен произвести ситца на двести пятьдесят человек, шерсти — на триста, а обуви — на тысячу. Сорок миллионов человек живут как бы одним большим домом, но порядка в нем нет. Общий доход в стране не так уж мал, но управляется страна преступно плохо. Кто посмеет возразить против того, что она управляется преступно, если пять человек в состоянии напечь хлеба, чтобы накормить тысячу ртов, и тем не менее миллионы людей живут впроголодь?

Глава XXVI. Пьянство, трезвенность и экономность

Иногда бедных хвалят за экономность. Но советовать бедняку быть экономным и нелепо и оскорбительно. Это то же самое, что советовать человеку, умирающему от голода, есть поменьше. Давать такие советы рабочему человеку — будь то сельскому или городскому — просто безнравственно. Человек не должен мириться с тем, что ему приходится жить как скотине, которую плохо кормят.

Оскар Уайльд

Не будет преувеличением сказать, что английские рабочие насквозь пропитаны пивом. Пиво делает их вялыми, тупыми и менее трудоспособными; они утрачивают находчивость, изобретательность и живость воображения, свойственные им от природы. Едва ли правильно назвать склонность англичан к пьянству благоприобретенной, ибо, зачатые пьяными родителями, они уже в утробе матери пропитываются алкоголем. Пиво — первое, что им дают понюхать и отведать, едва они успевают появиться на свет, с ним же связаны все дальнейшие картины их детства.

Кабаки встречаются повсюду — на каждом углу и даже еще чаще. Женщин бывает там, пожалуй, не меньше, чем мужчин. Заходят туда и дети: ждут мать или отца. Малыши прихлебывают из стаканов взрослых, слушают грубости и непристойности, наблюдают пьяные скандалы и набираются ума-разума.

Миссис Грэнди так же властно диктует свои правила рабочим, как и буржуа; однако, когда дело касается пива, она смотрит сквозь пальцы на пристрастие рабочих к питейным заведениям. Ни женщине, ни даже молоденькой девушке посещение кабака не грозит позором.

Одна подавальщица в кофейне говорила при мне своей товарке: «Я никогда не пью крепких напитков в пивной». Это была юная миловидная девушка, и она хотела дать почувствовать другой официантке, что такое благовоспитанность и скромность. Миссис Грэнди не дозволяет девушкам пить крепкие напитки, но пиво она считает вполне допустимым и посещение пивных тоже.

Дело не только в том, что пиво не годится для людей, — сами люди очень часто не пригодны для пива. Но это-то как раз и гонит их в кабак. Истощенный дурным питанием, исстрадавшийся в тесноте, бедняк Восточного Лондона чувствует нездоровую тягу к алкоголю совершенно так же, как манчестерский текстильщик томится от жажды, наевшись с усталости и с голодухи соленых огурцов и прочей неудобоваримой пищи. Нездоровый труд и нездоровые условия жизни порождают и нездоровые желания. Не может человек, трудясь, как вол, и питаясь, как свинья, сохранять чистые идеалы и здоровые желания.

Когда рушатся надежды на семейное счастье, власть над человеком приобретает кабак. Жаждут напиться не только те, кто устал и замучен работой, кто болен желудком и страдает от тяжелых бытовых условий, не только те, кто уже без сопротивления тянет унылую лямку, но и живые, общительные мужчины и женщины из-за того, что они лишены семейной жизни. Они спешат в ярко освещенный и шумный кабак, безуспешно пытаясь как-то отвести за разговорами душу. Ведь разве это семейная жизнь, если все ютятся в одной крохотной каморке!

Заглянем в любое из таких жилищ, и мы поймем одну из важных причин пьянства. По утрам вся семья встает в одно время и начинает одеваться: мать, отец, сестры и братья совершают туалет, мешая друг другу в общей тесноте. Мать готовит завтрак, и здесь же, где они спали, в этой самой непроветренной комнатушке, отвратительно пропахшей потом, семья садится есть. Потом отец уходит на работу, старшие дети бегут в школу или на улицу, а мать, оставшись с маленькими, берется за хозяйственные дела. Устраивается стирка, и к общему аромату добавляется запах грязного белья и мыла. Мокрое белье развешивается для просушки здесь же, в комнате.

Настает вечер, и в этой провонявшей всеми запахами конуре начинаются приготовления ко сну. Это значит, что все, кто уместится, лягут на кровать (если таковая имеется!), остальные же прямо на пол. Так вот и живут они из месяца в месяц, из года в год, не зная, что такое свежий воздух, разве лишь когда их выселят на улицу… Если умирает ребенок, — а это здесь не редкость, ибо пятьдесят пять процентов детей Восточной стороны гибнут, не достигнув пятилетнего возраста, — труп остается в комнате. И он лежит до тех пор, пока не наскребут денег на похороны, — чем беднее семья, тем дольше. Днем он лежит на кровати, ночью его перекладывают на стол, а утром — снова на кровать, так как за этим столом будут завтракать. Иногда тело кладут на полку, которая служит для хранения продуктов. Недавно я узнал, что одна женщина, не имея средств на похороны, продержала трупик ребенка в комнате три недели.

Каждому понятно, что это не жизнь, а ужас, и те мужчины и женщины, которые бегут из такого «дома» в кабак, заслуживают не порицания, а сочувствия. В Лондоне триста тысяч человек ютятся целыми семьями в одной комнате, а еще девятьсот тысяч живут в запрещенных условиях, если иметь в виду закон о народном здравоохранении 1891 года. Вот что поддерживает торговлю спиртными напитками и поставляет завсегдатаев кабаков!

К этому присоединяются и другие мощные факторы, побуждающие к пьянству: полная неуверенность в завтрашнем дне и страх перед будущим, — надо сказать, весьма обоснованный. Человек, чувствуя себя несчастным, ищет облегчения своим мукам, а алкоголь притупляет остроту чувств, дает временное забытье. Это вредно. Но ведь так же вредно и все прочее в жизни обитателя Бездны, и в кабаке он находит забвение, которого ему недостает. Там он приобретает даже какую-то уверенность в себе, возвышается в собственных глазах, хотя на самом деле кабак затягивает его на «дно» и огрубляет еще больше. И несчастный бедняк всю жизнь старается размыкать здесь свое горе, пока не закроет глаза навеки.

Таким людям бесполезно проповедовать воздержание и трезвенность. Привычка к пьянству порождает многие несчастья, но и сама она — результат тех или иных несчастий. Поборники трезвенности могут сколько угодно надрывать глотки, распинаясь о зле, порождаемом пьянством, но до тех пор, пока не уничтожат зло, заставляющее людей пить, пьянство будет процветать и приносить зло.

Пока благотворители не поймут этого, все их добрые намерения останутся бесплодными и будут вызывать только смех. Как-то раз я посетил выставку японского искусства, устроенную для бедняков Уайтчепела, дабы облагородить их души и вселить в них жажду Красоты, Истины и Добра. Допустим (хотя на самом деле это не так!), что удалось таким путем привить беднякам стремление к Красоте, Истине и Добру. Но для них это явилось бы лишь новым проклятием, ибо совсем нестерпимой показалась бы тогда бедным людям та жалкая жизнь, на которую обрекает их существующий социальный порядок, сулящий каждому третьему бедняку смерть в благотворительном учреждении. Ведь они почувствовали бы себя еще более обездоленными, чем прежде, когда еще ничего не познали и ни к чему не стремились! Если бы судьба превратила меня на всю жизнь в одного из рабов Восточного Лондона, обещая при этом выполнить последнее мое желание, я сказал бы, что хочу забыть о Красоте, Истине и Добре, забыть обо всем, что вычитал из книг или слышал, обо всех людях, которых когда-либо знал, обо всех странах, где побывал. А если судьба отказала бы мне в этом моем последнем желании, то почти наверняка я стал бы шляться по кабакам и пьянствовать, чтобы избавиться от воспоминаний.

Ох, уж эти благотворители! Все их просветительные и религиозные миссии и разные филантропические затеи — это же чушь, бессмыслица! И ничего этим не будет достигнуто, ибо все это в корне неверно, даже если и задумано с искренним стремлением помочь. Эти жалостливые люди совершенно не понимают жизни. Они еще не раскусили Западную сторону, а уже спешат на Восточную — в качестве наставников и мудрецов. Не познав простого христианского учения, они являются к несчастным, отверженным беднякам в пышном обличье избавителей от социального зла. Они стараются, как могут, но им удается облегчить лишь страдания незначительной части бедняков да записать кое-какие данные, которые можно было бы, кстати, собрать более научными путями и с меньшими затратами средств.

Как метко выразился кто-то, эти люди делают для бедняка все, за исключением одного, — они не слезают с его шеи. Деньги, которые они тратят по капле на осуществление своих ребяческих затей, высосаны из бедняков. Удачливые хищные двуногие, они стоят между рабочим и его заработком и стараются научить рабочего, что он должен делать с той мизерной частью, которая остается на его долю. Объясните ради всего святого, какая польза устраивать ясли для детей, матери которых, ну, скажем, делают бумажные фиалки в Айлингтонском работном доме по три фартинга за гросс, если и детей и цветочниц становится все больше и больше и благотворителям все равно никак не управиться? Цветочница должна повернуть в руках каждую фиалку четыре раза и сделать пятьсот семьдесят шесть таких движений за три фартинга, а в день — шесть тысяч девятьсот двенадцать движений за девять пенсов. Эту женщину грабят. Кто-то плотно уселся у нее на шее, и никакие порывы к Красоте, Истине и

Добру не облегчат ее участи. Ведь эти дилетанты ничего не делают для нее, а если что и делают для ее ребенка, то все это идет насмарку, когда мать приносит его домой на ночь.

И все они хором твердят одну главную, основную ложь. Они не ведают, что это ложь, но их неведение не превращает ее в правду. Ложь эта — проповедь «экономности». Докажу на примере. В перенаселенном Лондоне идет острая борьба за работу, поэтому оплата труда падает до самого низкого прожиточного минимума. Для рабочего быть экономным — значит тратить меньше, чем он зарабатывает; это значит снизить свой прожиточный минимум. Соревнуясь с другими в погоне за куском хлеба, человек, привыкший плохо жить, отобьет работу у человека, привыкшего жить получше. И везде, где в промышленности много свободных рук, кучка «экономных» рабочих будет систематически подрывать заработную плату. И вскоре эти экономные перестанут быть таковыми, ибо их заработок будет падать до тех пор, пока не сравняется с самыми наискромнейшими тратами.

Словом, экономность сама себе роет могилу. Если каждый английский рабочий, наслушавшись проповедников экономности, сократит свои расходы вдвое, то (учитывая, что на всех не хватает работы) заработная плата тоже снизится вдвое. И тогда уже никому из рабочих в Англии нечего будет сберегать. Недальновидные проповедники, разумеется, придут в ужас от таких результатов. И эти результаты станут тем разительнее, чем успешнее будет их пропаганда. Да и вообще ведь это нелепость, вздор — проповедовать какую-то экономность среди миллиона восьмисот тысяч семейных рабочих, зарабатывающих меньше двадцати одного шиллинга в неделю да еще вынужденных от четверти до половины этого заработка отдавать за жилье.

Говоря о бесплодности благотворительной деятельности, я должен упомянуть все же об одном благородном исключении. Это доктор Барнардо[44] и его детские дома. Доктор Барнардо — «ловец» детей. Он подбирает их, пока они еще юны и не успели загрубеть в нездоровой социальной среде, и отсылает за границу, помещая в лучшую социальную среду. Он уже успел вывезти из Англии тринадцать тысяч триста сорок мальчиков — большинство в Канаду, — и лишь очень немногие обманули его ожидания: из каждых пятидесяти сорок девять сделались людьми. И это отличный результат, если помнить, что подобранные доктором дети были беспризорными, бездомными сиротами, отвоеванными у Бездны.

Ежесуточно доктор Барнардо подбирает с панели девять беспризорных ребят, — отсюда уже можно понять, как велик размах его деятельности. Благотворителям есть чему поучиться у него. Он не забавляется полумерами, он доискался до истоков социальных бедствий. Он вырывает детей трущоб из губительной для них обстановки и переносит в иную, здоровую среду, где и происходит их дальнейшее формирование.

Когда благодетели бедных бросят свои дилетантские забавы, все эти детские ясли и японские выставки, а вместо этого постараются понять, что представляет собой Западная сторона и чему учил Христос, они сумеют с большей пользой взяться за дело. Если они всерьез займутся им, то последуют примеру доктора Барнардо уже в широком, общенациональном масштабе. Они не будут тогда призывать цветочницу, делающую фиалки по три фартинга за гросс, к Красоте, Истине и Добру, но заставят кое-кого слезть с ее шеи и перестать обжираться, дабы не пришлось ему, как древним римлянам, спускать жир в горячей бане. И тогда, к их изумлению и ужасу, окажется, что на шее этой женщины и многих других женщин и детей сидят также они сами. А они-то, добрые люди, и не подозревали этого!

Глава XXVII. Система управления

Семь человек, работая шестнадцать часов на усовершенствованных машинах, могли бы

накормить тысячу человек.

Эдуард Аткинсон[45]

В этой последней главе следовало бы расширить понятие социальной Бездны и поставить перед Цивилизацией некоторые вопросы, — ответы на них покажут, выстоит ли Цивилизация или погибнет. Зададим, например, такой вопрос: улучшила ли Цивилизация условия жизни человека? Слово «человек» я употребляю в его демократическом смысле, в значении «простой человек». Пожалуй, лучше спросить точнее: улучшила ли Цивилизация условия жизни простого человека?

Обратимся к фактам. На Аляске вдоль берегов Юкона, близ его устья, живут иннуиты. Это — первобытное племя, имеющее весьма смутное представление о такой огромной махине, как Цивилизация. Его национальный доход составляет что-то около двух фунтов стерлингов на душу. Пропитание себе иннуиты добывают ловлей рыбы и охотой; для этого им служат стрелы и копья с костяными наконечниками. Они никогда не страдают из-за отсутствия крова; они носят теплую одежду из звериных шкур. У них постоянно есть дрова для очага и лес для постройки жилищ, которые они делают наполовину в земле и спасаются в них во время зимней стужи. Летом они переселяются в палатки — прохладные, насквозь продуваемые свежим ветерком. Эти люди здоровы, сильны и счастливы. У них только одна забота — пища. Периоды изобилия сменяются периодами голодовок. В хорошие времена они пируют, в плохие гибнут от голода. Но массовый хронический голод им неведом. Кроме того, у них нет долгов.

В Великобритании, на островах Атлантического океана, проживает английский народ. Это в высшей степени цивилизованный народ. Его национальный доход составляет минимум триста фунтов стерлингов на душу населения. Англичане добывают себе пропитание не охотой и не рыбной ловлей, а трудом на колоссальных предприятиях. Подавляющая часть англичан страдает от нехватки жилья, живет в отвратительных условиях, не имеет топлива, чтобы обогреться, и очень плохо одета. Есть немало и таких, которые лишены вообще всякого крова и спят просто под открытым небом, причем количество их никогда не уменьшается. Многих можно увидеть летом и зимой на улицах одетыми в лохмотья и дрожащими от холода. Бывают у них хорошие времена, бывают и плохие. В хорошие времена большинство из них как-то умудряются прокормиться; в плохие времена они гибнут от голода. Они гибнут от голода сегодня, гибли вчера и в прошлом году, будут гибнуть завтра и через год, ибо они пребывают в состоянии хронического голода, которого не знают иннуиты. Численность английского народа — сорок миллионов человек, и из каждой тысячи девятьсот тридцать девять умирают в бедности, а постоянная восьмимиллионная армия обездоленных находится на грани голодной смерти. Далее надо сказать, что каждый только что родившийся на свет младенец уже имеет долг в сумме двадцать два фунта стерлингов. За это он может благодарить тех, кто изобрел «национальный долг».

Сравнивая беспристрастно простого иннуита с простым англичанином, убеждаешься, что жизнь иннуита менее сурова, чем жизнь англичанина: первый страдает от голода только в тяжелые времена, второй же — постоянно; у первого всегда имеется топливо, кров и одежда, второй же никогда не бывает этим надежно обеспечен. Здесь уместно привести мнение такого человека, как Хаксли. Будучи муниципальным врачом Восточного Лондона, а впоследствии изучая быт дикарей, Хаксли на основе своего опыта приходит к следующему выводу: «Если бы мне предстояло выбирать — жить ли, как дикарь, или прозябать, как эти люди в христианском Лондоне, я, не колеблясь, выбрал бы первое».

Жизненные блага, которыми пользуются люди, являются продуктом человеческого труда. Поскольку Цивилизация не сумела обеспечить простого англичанина пищей и кровом даже в

такой мере, в какой обеспечен иннуит, то встает вопрос, развивает ли Цивилизация производительные силы простого человека? Если нет, то такая Цивилизация не может существовать.

Но ведь Цивилизация развивает производительные силы человека, это факт! Пять человек могут напечь хлеба на тысячу человек. Один рабочий может произвести ситца на двести пятьдесят человек, шерсти на триста и обуви на тысячу. Однако, как показывает каждая страница этой книги, миллионы англичан не получают ни пищи, ни одежды, ни обуви в достаточном количестве. И вот неизбежно возникает третий вопрос: если Цивилизация развивает производительные силы простого человека, почему же она не улучшает условий жизни простого человека?

Ответ один: негодная система управления. Цивилизация несет с собой всевозможные жизненные блага, но простой англичанин не получает своей доли. Если так будет и дальше, Цивилизация падет — система, столь явно не оправдавшая себя, не имеет права на существование. Но ведь не может же быть, чтобы возвели такое грандиозное здание совершенно зря! Это немыслимо. Признаться в таком страшном поражении — значило бы нанести смертельный удар всякому прогрессу, всякому стремлению к лучшему будущему.

Есть только один выход, один-единственный: Цивилизацию нужно заставить служить интересам простого человека. А если это так, то сейчас же встает проблема управления страной. То, что полезно, должно быть оставлено, то, что вредно, — уничтожено. Приносит ли империя пользу Англии или вред? Если только вред, — надо с империей покончить. Если же пользу, — то надо управлять ею так, чтобы простой человек получал свою долю благ.

Если борьба за рынки сбыта полезна, продолжайте ее. Если нет, если она наносит ущерб рабочему человеку и делает его жизнь тяжелее, чем жизнь дикаря, то долой иностранные рынки заодно с индустриальной империей! Ибо не требует доказательств тот факт, что когда сорокамиллионный народ, оснащенный Цивилизацией, достигает более высокого развития производительных сил, чем иннуиты, то этот народ должен пользоваться и большими жизненными благами, чем иннуиты.

Если четыреста тысяч английских джентльменов «без определенных занятий» (согласно их собственному признанию во время переписи 1881 года) не приносят пользы, — долой их! Пошлите их работать: пахать землю, сажать картофель. Если вам выгодно их сохранить, — что ж, пожалуйста; но только пусть и простой англичанин участвует в распределении прибылей, которые получают эти люди, не имея «определенных занятий».

Короче говоря, общество должно быть реорганизовано под надежным управлением. О том, что нынешнее никуда не годится, не может быть двух мнений. Оно обескровило Великобританию. Оно высосало жизненные соки из своих верных подданных и лишило их способности бороться за то, чтобы Англия сохранила свое былое место среди соревнующихся государств. Всю Великобританию оно разделило на Западную сторону и Восточную сторону, из которых первая развращена и насквозь прогнила, а вторая страдает от болезней и голода.

Колоссальная империя идет к распаду при этом негодном управлении. Под словом «империя» подразумевается политическая машина, объединяющая все страны, говорящие на английском языке, за исключением Соединенных Штатов. И я к этому не отношусь пессимистически. Империя крови сильнее, чем политическая империя, а англичане в Новом Свете и их антиподы по-прежнему сильны[46] и жизнедеятельны. Но политическая империя, формально объединяющая этих англичан, идет к гибели. Политическая машина, носящая название Британской империи, катится в пропасть. При этой системе управления она утрачивает свою

жизнеспособность с каждым днем.

Эта система, столь грубо и преступно попирающая права людей, будет неизбежно уничтожена. И надо сказать, что она не только расточительная и бездарная, но также и грабительская система. Каждый изможденный бедняк без кровинки в лице, каждый слепой, каждый малолетний преступник, попавший в тюрьму, каждый человек, желудок которого сводят голодные спазмы, страдает потому, что богатства страны разграблены теми, кто ею управляет.

И ни один из представителей этого правящего класса не сумеет оправдаться перед судом Человека. Каждый младенец, гибнущий от истощения, каждая девушка, выходящая по ночам на панель Пикадилли после целого дня изнурительного труда на фабрике, каждый несчастный труженик, ищущий забвения в водах канала, требует к ответу «живых в домах и мертвых в могилах». Восемь миллионов человек, никогда не евшие досыта, и шестнадцать миллионов, никогда не имевшие теплой одежды и сносного жилья, предъявляют счет правящему классу за пищу, которую он пожирает, за вина, которые он пьет, за роскошь, которой он себя окружил, за дорогое платье, которое он носит.

Сомнений нет. Цивилизация увеличила во сто крат производительные силы человечества, но по вине негодной системы управления люди в условиях Цивилизации живут хуже скотов. У них меньше пищи, меньше одежды, меньше возможностей укрыться от непогоды, чем у дикаря иннуита на крайнем севере, жизнь которого сегодня мало чем отличается от жизни его предков в каменном веке, десять тысяч лет тому назад.

Проклятие

Откуда-то преданье
Пришло на память мне —
Испанская легенда
О давней старине.
У Саморы король Санчес
Предательски был убит,
И рать его, осаждая,
Вкруг города стоит.
Дон Дьего де Ордоньес
Выезжает грозно вперед,
Он стражников на стенах
Обличает и клянет.
В измене уличает,
Клеймит позором он
Всех горожан Саморы,
Кто рожден и не рожден.
Клянет живых под кровом,
Покойников в земле.
Воду в ручьях и реках,
Яства на столе.
…Но есть иное войско:
Горшую из осад
Ведет голодное войско
У Жизни замкнутых врат.
Клянут миллионы нищих
Яства на нашем столе,
Обличают нас в измене —

Всех, кто жив и кто спит в земле.
И часто на шумном пире
Средь шуток весельчаков,
Сквозь музыку и хохот
Я слышу ужасный зов.
Изможденные, тощие лица
Мне видны в окно сквозь мглу.
Иссохшие тянутся руки
За крохами на полу.
Внутри — изобилье пира,
Благовонья, праздничный свет,
А снаружи — отчаянье, голод,
Во тьме надежды нет.
И там, во стане голодных,
Где ветер, мрак, мороз,
Мертв лежит средь долины
Той рати вождь — Христос.
Лонгфелло

[1] Лоуэлл, Джеймс Рассел (1819 — 1891) — американский поэт и критик. Вошел в историю литературы как сторонник аболиционистов, выступал против рабства негров. В конце жизни Лоуэлл стал консерватором, проповедником «чистого искусства». (Здесь и далее примеч. ред.)

[2] Эш, Томас (1812 — 1887) — американский юрист и политический деятель.

[3] Ладгейт-серкус — площадь в центре Лондона.

[4] Бобби — так англичане называют полисмена.

[5] Роджерс, Джемс Эдвин Торолд (1823 — 1890) — английский буржуазный экономист.

[6] 1 фут равен около 30,5 см.

[7] Апрайт (англ. — Upright) — честный.

[8] Ланьер, Сидней (1842 — 1881) — американский поэт романтического направления.

[9] Пул и Лаймхауз — портовые районы Лондона.

[10] Хаксли, Томас Генри (1825 — 1895) — английский ученый-биолог, ближайший соратник Ч. Дарвина и популяризатор его учения.

[11] Фра Филиппо Липпи. — итальянский художник XV века. По дошедшим сведениям, отличался необыкновенной худобой.

[12] 1 английский фунт равен 458 граммам.

[13] Моррисон, Артур (1863 — 1945) — английский писатель. «Сын Джего» (1896) — его произведение, рассказывающее о жизни лондонской бедноты.

[14] Доре, Гюстав (1832 — 1883) — французский художник, автор широко известных иллюстраций к «Гаргантюа и Пантагрюэлю» Франсуа Рабле, «Дон-Кихоту» Сервантеса и др.

После посещения Англии создал цикл гравюр, изображающих сцены безработицы и нищеты населения Лондона.

[15] Безразличие (франц.)

[16] Карлейль, Томас (1795 — 1881) — английский писатель, историк и философ.

[17] 1 унция равна 28,3 грамма.

[18] Эмерсон, Ралф Уолдо (1803 — 1882) — американский писатель и философ-идеалист.

[19] Моррис, Вильям (1834 — 1896) — английский писатель и художник, утопический социалист.

[20] Суинберн, Алджернон Чарлз (1837 — 1909) — английский поэт.

[21] Да здравствует король Эдуард! (лат.)

[22] «Алгамбра» — известный мюзик-холл в Лондоне.

[23] Монтескье, Шарль-Луи (1689 — 1755) — французский просветитель, философ и писатель.

[24] Бернс, Джон (1858 — 1943) — участник английского рабочего движения, в дальнейшем отошел от него; в 1892 году был избран в парламент, где выступал за сотрудничество с капиталистами. В. И. Ленин характеризовал Бернса как негодяя и одного из «прямых предателей рабочего класса, продавшихся буржуазии за министерское местечко».

[25] Безант, Уолтер (1836 — 1901) — английский писатель и критик, автор книги «Люди и условия их жизни», в которой предлагал реформы по борьбе с нищетой.

[26] Джуд Незаметный — герой одноименного романа английского писателя Томаса Харди (1840 — 1928), упорно стремившийся к знаниям, но так и не получивший образования.

[27] Голдсмит, Оливер (1728 — 1774) — английский поэт и писатель-просветитель, один из крупнейших представителей сентиментализма.

[28] Бушель — мера сыпучих и жидких тел, равная 36,3 литра.

[29] Крейн, Стивен (1871 — 1900) — американский писатель, автор повести «Мэгги, девушка улицы» и ряда рассказов, в которых освещалась жизнь социальных низов.

[30] Чемберлен, Джозеф (1836 — 1914) — английский политический деятель, один из идеологов британского империализма; проводил политику империалистической экспансии.

[31] Блэтчфорд, Роберт (1851 — 1943) — английский журналист и писатель. Его работа «Веселая Англия» посвящена вопросам социалистического движения.

[32] Теннисон, Альфред (1809 — 1892) — английский поэт.

[33] Сент-Джеймс-Холл — дворец в фешенебельном районе Лондона.

[34] Гаррисон, Фредерик (1831 — 1923) — английский философ-позитивист, биограф и критик,

автор работ «Содержание истории», «Положение в обществе и прогресс» и др.

[35] Каменщики в Сан-Франциско получают двадцать шиллингов в день. В настоящий момент они бастуют, требуя повышения платы до двадцати четырех шиллингов. (Прим. автора.)

[36] …что было в Южной Африке и на Филиппинских о с т р о в а х. — Имеется в виду англо-бурская война, развязанная Англией в целях колониальных захватов в Южной Африке, и жестокое подавление американскими войсками национально-освободительного движения на Филиппинах. По мирному договору 10 декабря 1898 года Испания отказалась от Филиппин в пользу США. После этого американские войска вероломно напали на филиппинцев. В 1901 году героическое сопротивление народа новым колонизаторам было сломлено, и Филиппины стали американской колонией.

[37] Паркер, Теодор (1810 — 1860) — американский проповедник, философ-моралист, выступавший по вопросам религии, воспитания, женской эмансипации и др., был противником рабства.

[38] Глубокая нищета, обездоленность (франц.).

[39] Избиение младенцев. — Имеется в виду христианская легенда об избиении младенцев в Вифлееме иудейским царем Иродом Великим, которому сказали, что среди них находится новорожденный Иисус Христос, будущий «царь иудейский».

[40] Линкольн, Авраам (1809 — 1865) — выдающийся американский государственный деятель, президент США в 1861 — 1865 годах.

[41] Уайльд, Оскар (1856 — 1900) — английский писатель, один из представителей модернизма конца XIX века. В его статье «Душа человека при социализме» отразился интерес к учениям утопического социализма.

[42] Куртен — буханка хлеба весом около 1,7 килограмма.

[43] Галлон — мера жидких и сыпучих тел, около 4,5 литра.

[44] Барнардо, Томас (1845 — 1905) — английский филантроп, организатор сиротских приютов, в которых детей воспитывали в строго религиозном духе и обучали ремеслам.

[45] Аткинсон, Эдуард (1827 — 1905) — американский экономист.

[46] …и их антиподы по-прежнему… жизнедеятельны. — Под антиподами Джек Лондон подразумевает Австралию и Новую Зеландию.

Спасибо, что читаете вместе с «Азбукой веры».

Другие материалы раздела – azbyka.ru/fiction

Поддержать портал – azbyka.ru/kak-pomoch